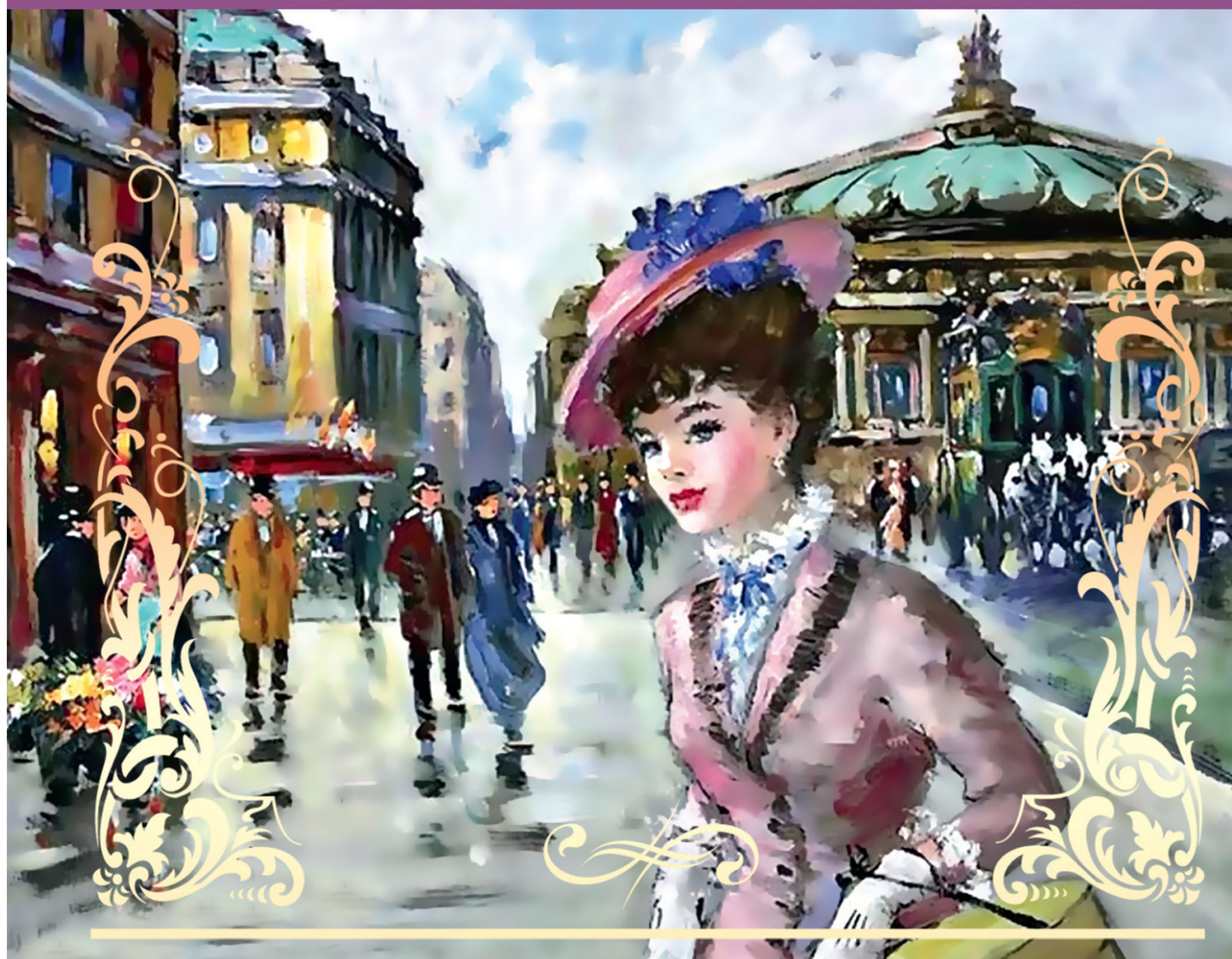


100 великих романов

Эмиль Золя

ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ



100 великих романов

Эмиль Золя

Дамское счастье

«ВЕЧЕ»

1883

Золя Э.

Дамское счастье / Э. Золя — «ВЕЧЕ», 1883 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4484-8070-6

Этот роман французского писателя Эмиля Золя (1840–1902) относится к серии «Ругб́н-Макка́ры», в которой прослеживается история одной семьи в эпоху Второй империи. Юная Дениза вместе с двумя братьями остается без средств к существованию. Она приезжает в Париж к своему дяде, и однажды ее внимание привлекают витрины шикарного парижского магазина. Скромная «золушка» устраивается продавщицей в этот «дамский рай», и вскоре судьба улыбается ей в образе блистательного Октава Муре, хозяина «Дамского счастья»...

ISBN 978-5-4484-8070-6

© Золя Э., 1883

© ВЕЧЕ, 1883

Содержание

Глава I	6
Глава II	21
Глава III	38
Глава IV	53
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Эмиль Золя
Дамское счастье
Роман

Émile Zola
Au Bonheur des Dames

* * *

В оформлении обложки использована картина французского художника Франсуа Жерома «Парижанка с картонной коробкой»

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Глава I

Дениза шла пешком с вокзала Сен-Лазар, куда ее с двумя братьями доставил шербурский поезд. Маленького Пепе она вела за руку. Жан шел сзади. Все трое страшно устали от путешествия, после ночи, проведенной на жесткой скамье в вагоне третьего класса. В огромном Париже они чувствовали себя потерянными и заблудившимися, глазели на дома и спрашивали на каждом перекрестке: где улица Ла Мишодьер? Там живет их дядя Бодю. Попад, наконец, на площадь Гайон, девушка в изумлении остановилась.

– Жан, – промолвила она, – погляди-ка!

И они замерли, прижавшись друг к другу; все трое были в черном: они донашивали старую одежду – траур по отцу. Дениза была невзрачная девушка, слишком тщедушная для своих двадцати лет; в одной руке она несла небольшой узелок, другою – держала за ручонку младшего, пятилетнего брата; позади нее стоял, от удивления свесив руки, старший брат – шестнадцатилетний подросток, в полном расцвете юности.

– Да, – сказала она, помолчав, – вот это магазин!

То был магазин новинок на углу улиц Ла Мишодьер и Нев-Сент-Огюстен. В этот мягкий и тусклый октябрьский день его витрины сверкали яркими тонами. На башне церкви Сен-Рок пробило восемь; Париж только еще пробуждался, и на улицах встречались лишь служащие, спешившие в свои конторы, да хозяйки, вышедшие за провизией. У входа в магазин двое приказчиков, взобравшись на стремянку, развешивали шерстяную материю, а в витрине со стороны улицы Нев-Сент-Огюстен другой приказчик, стоя на коленях, спиной к улице, тщательно драпировал складками отрез голубого шелка. Покупателей еще не было, да и служащие только еще начали прибывать, но магазин уже гудел внутри, как потревоженный улей.

– Да, что и говорить, – заметил Жан. – Это почище Валони. Твой был не такой красивый!

Дениза пожала плечами. Она два года прослужила в Валони, у Корная, лучшего в городе торговца новинками; но этот неожиданно попавшийся им по дороге магазин, этот огромный дом преисполнил ее неизъяснимым волнением и словно приковал к себе; взволнованная, изумленная, она позабыла обо всем на свете. На срезанном углу, выходившем на площадь Гайон, выделялась высокая стеклянная дверь в орнаментальной раме с обильной позолотой; дверь доходила до второго этажа. Две аллегорические фигуры – откинувшиеся назад смеющиеся женщины с обнаженной грудью – держали развернутый свиток, на котором было написано: «Дамское счастье». Отсюда сплошной цепью расходились витрины: одни тянулись по улице Ла Мишодьер, другие – по Нев-Сент-Огюстен, занимая, помимо угольного дома, еще четыре, недавно купленных и приспособленных для торговли, – два слева и два справа. Эти уходящие вдаль витрины казались Денизе бесконечными; сквозь их зеркальные стекла, а также в окна второго этажа можно было видеть все, что творится внутри. Вот наверху барышня в шелковом платье чинит карандаш, а неподалеку две другие раскладывают бархатные манто.

– «Дамское счастье», – прочел Жан с легким смешком: в Валони у этого красавца юноши уже была интрижка с женщиной. – Да, мило! Это должно привлекать покупателей.

Но Дениза вся ушла в созерцание выставки товаров, расположившейся у центрального входа. Здесь, под открытым небом, у подъезда, были разложены, точно приманка, груды дешевых товаров на все вкусы, чтобы прохожие могли их купить, не заходя в магазин. Сверху, со второго этажа, свешивались, развеваясь, как знамена, полотнища шерстяной материи и сукон, материи из меринсовой шерсти, шевиот, мольтон; на их темно-сером, синем, темно-зеленом фоне отчетливо выделялись белые ярлычки. По бокам, обрамляя вход, висели меховые палантины, узкие полосы меха для отделки платьев – пепельно-серые беличьи спинки, белоснежный пух лебяжьих грудок, кролик, поддельный горностай и поддельная куница. Внизу – в ящиках, на столах, среди груды отрезков высились горы трикотажных товаров, продававшихся за бесце-

нок: перчатки и вязанные платки, капоры, жилеты, всевозможные зимние вещи, пестрые, узорчатые, полосатые, в красный горошек. Денизе бросилась в глаза клетчатая материя по сорок пять сантимов за метр, шкурки американской норки по франку за штуку, митенки за пять су. Это было похоже на гигантскую ярмарку; казалось, магазин лопнул от множества товаров и избыток их вылился на улицу.

Дядюшка Бодю был забыт. Даже Пепе, не выпускавший руку сестры, вытарашил глаза. Приближавшаяся повозка спугнула их с площади, и они машинально пошли по улице Нев-Сент-Огюстен, переходя от витрины к витрине и подолгу простаивая перед каждой. Сначала их поразило замысловатое устройство выставок: вверх были расположены по диагонали зонтики в виде крыши деревенской хижины; внизу на металлических прутьях висели шелковые чулки, словно обтягивавшие округлые икры; тут были чулки всех цветов: черные с ажуром, красные с вышивкой, тельного цвета, усеянные букетиками роз, и атласистая вязь их казалась нежной, как кожа блондинки. Наконец, на полках, покрытых сукном, лежали симметрично разложенные перчатки с удлиненными, как у византийской девственницы, пальцами и с ладонью, отмеченной какою-то чуть угловатой, поистине девичьей грацией, как все еще не ношенные женские наряды. Но особенно ошеломила их последняя витрина. Шелк, атлас и бархат были представлены здесь во всем разнообразии переливчатой, вибрирующей гаммы тончайших оттенков: наверху – бархат густого черного цвета и бархат молочной белизны; ниже – атласные ткани, розовые, голубые, в причудливых складках, постепенно переходящие в бледные, бесконечно нежные тона; еще ниже, словно ожив под опытными пальцами продавца, переливались шелка всех цветов радуги, – отрезы, свернутые в виде кокард и расположенные красивыми складками, точно на вздымающейся груди. Каждый мотив, каждая красочная фраза витрины была отделена от другой как бы приглушенным аккомпанементом – легкой волнистой лентой кремовых фуляров. А по обеим сторонам витрины высились груды шелка двух сортов: «Счастье Парижа» и «Золотистая кожа». Шелка эти продавались только здесь и были из ряда вон выдающимся товаром, которому предстояло произвести переворот в торговле новинками.

– Такой фай и всего по пять шестьдесят! – шептала Дениза, изумленная «Счастьем Парижа».

Жан начал скучать. Он остановил прохожего:

– Скажите, пожалуйста, где улица Ла Мишодьер?

Оказалось, что это – первая улица направо, и молодые люди повернули назад, оглябая магазин. Когда Дениза вышла на улицу Мишодьер, ее ошеломила витрина с готовыми дамскими нарядами: у Корная она как раз торговала готовым платьем. Но ничего подобного она никогда еще не видывала; от изумления она даже не могла сдвинуться с места. В глубине широкие полосы очень дорогих брюггских кружев спускались вниз наподобие алтарной завесы, распростершей рыжевато-белые крылья; дальше гирляндами ниспадали волны алансонских кружев; широкий поток малинских, валансьенских, венецианских кружев и брюссельских аппликаций был похож на падающий снег. Справа и слева мрачными колоннами выстроились штуки сукна, еще более оттенявшие задний план святилища. В этой часовне, воздвигнутой в честь женской красоты, были выставлены готовые наряды; в центре было помещено нечто исключительное – бархатное манто с отделкой из серебристой лисицы; по одну сторону красовалась шелковая ротонда, подбитая беличьим мехом; по другую – суконное пальто с опушкой из петушиных перьев; наконец, тут же были выставлены бальные накидки из белого кашемира, подбитые белым же, отделанные лебяжьим пухом или шелковым шнуром. Здесь можно было подобрать себе любую вещь по вкусу, начиная от бальных пелерин за двадцать девять франков и кончая бархатным манто ценою в тысячу восемьсот. Пышные груди манекенов растягивали материю, широкие бедра подчеркивали тонкость талии, а отсутствующую голову заменяли большие ярлыки, прикрепленные булавками к красному мольтону шеи. Зеркала с обеих сторон витрины были расположены так, что манекены без конца отражались и

множились в них, населяя улицу прекрасными продажными женщинами, цена которых была обозначена крупными цифрами на месте головы.

– Замечательно! – вырвалось у Жана, не нашедшего других слов для выражения своего восторга.

Он стоял неподвижно, разинув рот. Вся эта женская роскошь так нравилась ему, что он даже порозовел. Он наделен был девичьей красотой, красотой, которую словно похитил у сестры: у него был бледный цвет лица, рыжеватые вьющиеся волосы, а глаза и губы – влажные, нежные. Зачарованная Дениза рядом с ним казалась еще более хрупкой, – впечатление это усиливалось благодаря утомленному продолговатому лицу, слишком большому рту и бесцветным волосам. Пепе, совсем белесый, как это часто бывает у детей его возраста, все теснее прижимался к сестре, точно охваченный беспокойной потребностью ласки, смущенный и восхищенный красивыми дамами с витрины. Эта грустная девушка с ребенком и красавец подросток, все трое в черном, белокурые и бедно одетые, являли собою столь своеобразное зрелище и были так прелестны, что прохожие с улыбкой оборачивались на них.

Полный седой мужчина с широким изжелта-бледным лицом, стоявший на пороге одной из лавок по другую сторону улицы, уже давно разглядывал их. Глаза его налились кровью, рот дергался: он был вне себя от витрин «Дамского счастья», а вид девушки и ее братьев довершал его раздражение. Ну что за простофили, чего они разинули рты на эти шарлатанские приманки?

– А дядя-то! – вдруг вспомнила Дениза, словно очнувшись от сна.

– Это и есть улица Ла Мишодьер, – сказал Жан. – Он живет где-нибудь здесь.

Они подняли головы, обернулись. И прямо перед собой, над полным господином, они увидели зеленую вывеску с полинявшей желтой надписью: «Старый Эльбёф, сукна и фланели. – Бодю, преемник Ошкорна». Дом, в незапамятные времена выкрашенный рыжеватой краской и зажатый между двух больших особняков в стиле Людовика XIV, имел по фасаду всего лишь три окна; окна эти, квадратные, без ставней, были снабжены только железной рамой с двумя перекладинами крест-накрест. Глаза Денизы были еще полны блеском витрин «Дамского счастья», а потому ее особенно поразило убожество лавки, приютившейся в первом этаже; низкий потолок словно придавил ее, сверху нависал второй этаж, а узкие окна в виде полумесяца были, как в тюрьме. Деревянные рамы того же бутылочного цвета, что и вывеска, приобрели от времени оттенки охры и асфальта; они окаймляли две глубокие, черные, пыльные витрины, где смутно виднелись нагроможденные друг на друга штуки материй. Отворенная дверь вела, казалось, в сырой сумрак погреба.

– Вот, – сказал Жан.

– Ну что ж, пойдёмте, – решила Дениза. – Пойдёмте. Иди, Пепе.

Но они всё не решались тронуться с места: их охватила робость. Правда, когда умер их отец, унесенный той же лихорадкой, от которой месяцем раньше умерла мать, дядя Бодю, под впечатлением двойной утраты, написал племяннице, что у него всегда найдется для нее место, если она вздумает поискать счастья в Париже; но со времени этого письма прошел уже почти год, и девушка теперь раскаивалась, что так опрометчиво уехала из Валони и заранее не уведомила дядю о своем приезде. Ведь он совсем не знает их и не бывал в Валони с тех пор, как еще юношей уехал оттуда и поступил младшим приказчиком к суконщику Ошкорну, на дочери которого он впоследствии женился.

– Господин Бодю? – спросила Дениза, решившись, наконец, обратиться к полному господину, который все еще смотрел на них, удивляясь их поведению.

– Это я, – ответил он.

Тогда Дениза, вся покрасневшись, пролепетала:

– Вот чудесно!.. Я – Дениза, а это – Жан, а вот это – Пепе... Видите, дядя, наконец мы и приехали.

Бодю остолбенел от изумления. Большие красные глаза его заморгали, и без того бессвязная речь стала еще бессвязнее. Он был, очевидно, очень далек от мыслей об этой семье, так неожиданно свалившейся ему на голову.

– Как? Как? Вы здесь? – на все лады повторял он. – Да ведь вы были в Валони!.. Почему же вы не в Валони?

Пришлось ему все объяснить. Кротким, слегка дрожащим голосом Дениза рассказала, как после смерти отца, который ухлопал всё до последнего гроша на свою красильню, она осталась матерью для мальчиков. Ее заработка у Корная не хватало даже на то, чтобы прокормиться. Жан, правда, работал у столяра-краснодеревца, чинившего старинную мебель, но еще ничего не зарабатывал. Между тем он обнаруживал вкус к старинным вещам и любил вырезать из дерева фигурки, а однажды, найдя кусок слоновой кости, забавы ради выточил голову, которую случайно увидел какой-то прохожий; этот-то господин и убедил их уехать из Валони и подыскать для Жана место в Париже у резчика по кости.

– Понимаете, дядя, Жан завтра же отправится в обучение к своему новому хозяину. Денег с меня за это не потребуют; более того, он даже получит кров и пищу... Что же касается Пепе и меня самой, я думаю, мы как-нибудь проживем. Хуже, чем в Валони, нам не будет.

Но она умолчала о любовных похождениях Жана, о его письмах к девушке из почтенной семьи, о том, как подростки целовались через ограду, – словом, о скандале, принудившем ее уехать из родного города; она сопровождала брата в Париж главным образом для того, чтобы присматривать за ним. Этот большой ребенок, такой красивый и веселый, уже привлекавший внимание женщин, внушал ей материнскую тревогу.

Дядя Бодю никак не мог прийти в себя и опять пустился в расспросы. Услышав, однако, как она говорит о братьях, он стал обращаться к ней на «ты».

– Значит, отец так-таки ничего вам и не оставил? А я-то был уверен, что у него еще уцелело немного денег... Ах, сколько раз я писал ему, советовал не связываться с этой красильней. У него было доброе сердце, но рассудительности ни на грош!.. И ты осталась с этими ребятами на руках! Тебе пришлось кормить эту мелюзгу!

Его желчное лицо просветлело, глаза уже не были налиты кровью, как в ту минуту, когда он смотрел на «Дамское счастье». Вдруг он заметил, что загораживает вход.

– Пойдемте же, – сказал он, – входите, раз уж приехали... Входите, нечего ротозейничать на глупости.

И, еще раз бросив злобный взгляд на витрины напротив, он провел детей в лавку и стал звать жену и дочь:

– Элизабета! Женевьева! Идите-ка сюда, тут к вам гости!

Сумрак, царивший в лавке, смутил Денизу и мальчиков.

Ослепленные ярким дневным светом, заливавшим улицы, они напрягали зрение, словно на пороге какого-то логовища, и нащупывали ногою пол, инстинктивно опасаясь вероломной ступеньки. Эта смутная боязнь еще больше сближала их, они еще теснее жались друг к другу: мальчуган по-прежнему держался за юбку девушки, старший шел позади – так они входили, и улыбаясь и трепеща. Их черные силуэты в траурной одежде отчетливо вырисовывались на фоне сияющего утра, косые лучи солнца золотили их белокурые волосы.

– Входите, входите, – повторял Бодю.

И он вкратце объяснил жене и дочери, в чем дело.

Г-жа Бодю, невысокая женщина, изнуренная малокровием, была вся какая-то бесцветная: бесцветные волосы, бесцветные глаза, бесцветные губы. Эти признаки вырождения еще отчетливее проявлялись у ее дочери: она была тщедушна и бледна, как растение, выросшее в темноте. Только великолепные черные волосы, густые и тяжелые, словно чудом выросшие у этого тщедушного существа, придавали ее облику какую-то печальную прелесть.

– Добро пожаловать, – сказали обе женщины. – Очень рады вас видеть.

Они усадили Денизу за прилавок. Пепе тотчас же взобрался к сестре на колени, а Жан стал подле нее, прислонившись к стене. Они постепенно успокаивались и начинали присматриваться к окружающему; глаза их мало-помалу привыкали к царившему здесь сумраку. Теперь они видели всю лавку с ее нависшим закопченным потолком, дубовыми прилавками, отполированными за долгие годы, столетними шкафами, запертыми на крепкие замки. Темные кипы товаров громоздились до самого потолка. Запах сукон и красок – терпкий запах химикалий – усиливался благодаря сырому полу. В глубине лавки двое приказчиков и продавщица укладывали штуки белой фланели.

– Быть может, карапузик не прочь чего-нибудь покушать? – спросила г-жа Бодю, улыбаясь малышу.

– Нет, благодарю вас, – ответила Дениза. – Мы выпили по чашке молока в кафе у вокзала.

Заметив, что Женевьева бросила взгляд на узелок, положенный на пол, Дениза прибавила:

– Сундучок я оставила на вокзале.

Она краснела, понимая, что не принято так неожиданно сваливаться людям на голову. Еще в вагоне, не успев поезд отойти от родного города, она почувствовала глубокое раскаяние; поэтому, приехав в столицу, она отдала багаж на хранение и накормила детей завтраком.

– Отлично, – сказал вдруг Бодю. – Теперь потолкуем малость по душам... Правда, я сам тебе писал, чтобы ты приехала, но это было год назад, а дела у меня с тех пор, голубка моя, стали совсем плохи...

Он остановился, поперхнувшись от волнения, которого старался не выдавать. Г-жа Бодю и Женевьева потупились с видом безропотной покорности.

– Разумеется, – продолжал он, – эта заминка в делах пройдет, в этом я не сомневаюсь... Но мне пришлось сократить персонал; теперь у меня только три приказчика, и для найма четвертого время неподходящее. Словом, бедная моя деточка, я не могу взять тебя к себе, как предлагал.

Дениза слушала, потрясенная, бледная, как полотно. Бодю решительно прибавил:

– Из этого не вышло бы ничего путного ни для тебя, ни для нас.

– Ну что ж, дядя, – с трудом выговорила она. – Я постараюсь как-нибудь устроиться.

Супруги Бодю были неплохие люди, но они считали, что в жизни им не везет. В те времена, когда торговля их шла бойко, им приходилось растить пятерых сыновей; трое из них годам к двадцати умерли, у четвертого появились дурные наклонности, а пятый недавно уехал в Мексику капитаном судна. Осталась одна Женевьева. Семья требовала больших расходов, а Бодю к тому же окончательно погубил себя, купив в Рамбуне, на родине тестя, большой и скверно построенный дом. И в душе этого старого маниакально честного торговца все сильнее накапливалась горечь.

– Надо было предупредить, – продолжал он, мало-помалу раздражаясь на собственную черствость. – Ты могла бы мне написать, и я тебе ответил бы, чтобы ты оставалась в Валони... Когда я узнал о смерти твоего отца, я тебе высказал лишь то, что обычно говорится в таких случаях. А ты вот являешься без предупреждения... Это крайне стеснительно.

Он повышал голос, отводя душу. Жена и дочь продолжали сидеть, потупившись, с покорностью людей, которые никогда не позволяют себе вмешиваться. Жан побледнел, Дениза прижала к груди испуганного Пепе. Две крупные слезинки скатились по ее щекам.

– Хорошо, дядя, – сказала она. – Мы уйдем.

Наконец, ему удалось взять себя в руки. Последовало тягостное молчание. Затем он ворчливо сказал:

– Я вас не гоню... Уж раз явились, сегодня переночуйте у нас наверху. А там посмотрим.

Госпожа Бодю и Женевьева с одного взгляда поняли, что могут заняться размещением гостей. Все уладилось. О Жане нечего было заботиться. Что касается Пепе, то ему будет

чудесно у г-жи Гра, пожилой дамы, которая занимает нижний этаж одного из домов на улице Орти и за сорок франков в месяц берет на полный пансион маленьких детей. Дениза сказала, что за первый месяц она уплатить может. Оставалось только устроиться ей самой. Где-нибудь поблизости для нее, наверное, найдется местечко.

– Кажется, Венсар ищет продавщицу, – заметила Женевьева.

– Да, да, ищет! – воскликнул Бодю. – После завтрака мы к нему и ходим. Куй железо, пока горячо!

Ни единый покупатель не помешал этому семейному объяснению. В лавке по-прежнему было темно и пусто. В глубине ее приказчики, шушукаясь, продолжали работу. Но вот появились три дамы, и Дениза на минуту осталась одна. Она поцеловала Пепе, и сердце ее сжалось при мысли о близкой разлуке. Пепе, ласковый, как котенок, прятал головку и не произносил ни слова. Когда г-жа Бодю с Женевьевой вернулись, они обратили внимание на то, какой он послушный, и Дениза стала уверять, что мальчик никогда не шумит; он молчит по целым дням и только ласкается. До самого завтрака три женщины говорили о детях, о хозяйстве, о жизни в Париже и в провинции, обменивались краткими и ничего не значащими фразами, как родственники, которые еще недостаточно знакомы и поэтому стесняются друг друга. Жан вышел на порог: его заинтересовала жизнь улицы, и он с улыбкой смотрел на проходивших мимо хорошеньких девушек.

В десять часов появилась служанка. Обычно стол накрывался сначала для Бодю, Женевьевы и старшего приказчика. Вторично накрывали в одиннадцать часов – для г-жи Бодю, другого приказчика и продавщицы.

– Завтракать! – воскликнул суконщик, обращаясь к племяннице.

И когда все уже расселись в узкой столовой, находившейся позади лавки, он позвал замешкавшегося старшего приказчика:

– Коломбан!

Молодой человек извинился: он собирался сначала убрать фланель. Это был малый лет двадцати пяти, полный, грузный и хитрый на вид. У него было степенное лицо с крупным мягким ртом и лукавыми глазами.

– Успеется! Всеу свое время, – отвечал Бодю и, прочно усевшись, принялся осторожно и ловко, по-хозяйски, разрезать кусок холодной телятины, измеряя на глаз тоненькие ломтики с точностью чуть ли не до грамма.

Он одел им всех и даже нарезал хлеб. Дениза посадила Пепе возле себя, чтобы он не напачкал. Но темная столовая угнетала ее; осматриваясь вокруг, Дениза испытывала тоскливое чувство, – у себя в провинции она привыкла к большим, просторным и светлым комнатам. Единственное окно столовой выходило на крохотный внутренний дворик, сообщавшийся с улицей темными воротами; этот дворик, сырой и зловонный, был похож на дно колодца, еле освещенное мутным светом. В зимние дни здесь приходилось жечь газ с утра до ночи. Когда же можно было не зажигать света, становилось еще печальнее. Денизе потребовалось некоторое время, чтобы глаза ее освоились и стали как следует различать куски на тарелке.

– Вот у этого молодца так аппетит! – заметил Бодю, видя, что Жан уже покончил с телятиной. – Если он так же работает, как ест, из него получится настоящий мужчина... А почему же ты, дитя мое, не ешь?.. Признайся – теперь можно и поболтать, – почему ты не вышла замуж у себя в Валони?

Дениза отставила стакан, который поднесла было ко рту.

– Да что вы, дядя, как же мне выйти замуж! Что вы! А что будет с детьми?

Она даже рассмеялась, – до того нелепой показалась ей эта мысль. Кроме того, кому придет в голову жениться на ней, бесприданнице, да еще такой тщедушной и некрасивой? Нет, нет, она ни за что не выйдет замуж, довольна с нее и двоих детей.

– Зря, – возразил дядя, – женщине трудно без мужчины. Если бы ты нашла какого-нибудь молодца, тебе с братьями не пришлось бы, как цыганам, очутиться на парижской мостовой.

Он замолчал и снова принялся скупко, но справедливо делить блюдо картофеля на свином сале, поданное служанкой. Потом, указывая ложкой на Женеьеву и Коломбана, прибавил:

– Посмотри-ка на эту парочку. Если зимний сезон будет удачен, весной они обвенчаются.

Таков был патриархальный обычай этой фирмы. Ее основатель, Аристид Фине, выдал свою дочь Дезире за старшего приказчика, Ошкорна; сам Бодю, прибыв на улицу Ла Мишодьер с семью франками в кармане, женился на дочери старика Ошкорна, Элизабете, и намеревался в свою очередь передать Коломбану дочь и все предприятие, когда дела снова пойдут хорошо. Брак этот был решен еще три года тому назад и откладывался только из-за щепетильности и упрямства безукоризненно честного коммерсанта: сам он получил предприятие в цветущем состоянии и не хотел, чтобы в руки зятя оно перешло с уменьшившейся клиентурой и сомнительным балансом.

Бодю продолжал говорить: разговор перешел на Коломбана, который был родом из Рамбуа, как и отец г-жи Бодю, – они даже состояли в дальнем родстве. Отличный работник: уже десять лет не покладая рук трудится в лавке и вполне заслужил повышение! Да к тому же он и не первый встречный; его отец – кутила Коломбан, ветеринар, известный всему департаменту Сены и Уазы, настоящий мастер своего дела; но он так любит пожить, что промотал все, что у него имелось.

– Отец пьянствует и водится с девками, зато сын, слава богу, научился здесь понимать цену деньгам, – сказал в заключение суконщик.

Пока он разглагольствовал, Дениза испытующе поглядывала на Коломбана и Женеьеву. Они сидели друг против друга, с равнодушными лицами, не улыбались, не краснели. С первого же дня службы молодой человек рассчитывал на этот брак. Он безропотно прошел различные ступени своей карьеры – от ученика до продавца на жалованье – и был, наконец, посвящен во все тайны и радости семейства; он был терпелив, вел жизнь налаженную, как часовой механизм, и смотрел на брак с Женеьевой как на превосходную и честную сделку. Он знал, что будет обладать Женеьевой, и это мешало ему желать ее. Девушка тоже привыкла любить его и любила со свойственной ей серьезностью и сдержанностью, но в то же время и с глубокой страстью, о которой сама не подозревала, – так ровно и размеренно текла ее жизнь.

– Когда люди нравятся друг другу и имеют возможность... – сочла своим долгом с улыбкой сказать Дениза, желая быть любезной.

– Да, этим всегда кончается, – вставил Коломбан; он медленно прожевывал куски и до сих пор еще не произнес ни слова.

Женеьева бросила на него долгий взгляд и сказала:

– Надо только понять друг друга, остальное пойдет само собой.

Их любовь выросла здесь, в нижнем этаже старинного парижского дома. Она была как цветок, расцветший в погребе. В течение десяти лет Женеьева знала только Коломбана, проводила дни бок о бок с ним, среди все тех же груд сукна, в полутьме лавки; утром и вечером они встречались в узкой столовой, холодной как колодезь. Лучше спрятаться, лучше укрыться они не сумели бы и в лесной глуши, под листвой деревьев. Только сомнение или ревнивый страх потерять любимого могли бы открыть Женеьеве, что она навсегда отдала себя Коломбану – и все из-за душевной пустоты и скуки, завладевших ею в этом мраке-соучастнике.

Однако во взгляде, брошенном Женеьевой на Коломбана, Дениза заметила зарождающееся беспокойство. И она предупредительно ответила:

– Когда любишь, всегда друга поймешь.

Между тем Бодю неукоснительно надзирал за столом. Он распределил ломтики сыра и потребовал, в честь родственников, второй десерт – банку смородинового варенья; такая щедрость, видимо, изумила Коломбана. Пепе, который до сих пор был умником, при появлении

варенья изменил себе. Жан, увлеченный разговором о браке, пристально рассматривал двоюродную сестрицу: он находил ее слишком вялой, слишком бледной и в глубине души думал, что она похожа на белого черноухого кролика с красными глазами.

– Довольно болтать, дадим место другим! – заключил, наконец, суконщик, подавая знак встать из-за стола. – Иной раз и можно позволить себе что-нибудь необычное, но все хорошо в меру.

Теперь за стол уселись г-жа Бодю, второй приказчик и продавщица. Дениза опять осталась одна; она села подле двери, ожидая, когда дядя освободится, чтобы проводить ее к Венсару. Пепе играл у ее ног. Жан снова занял наблюдательный пост на пороге. И почти целый час девушка присматривалась к тому, что происходит вокруг. Изредка входили покупатели: появилась какая-то дама, затем еще две. Лавка хранила аромат старины, полумрак, в котором вся прежняя торговля, бесхитростная и добродушная, казалось, оплакивала свое запустение. Но «Дамское счастье», витрины которого на другой стороне улицы виднелись в открытую дверь, приводило Денизу в восторг. Небо было облачно, воздух после теплого дождя стал мягче, несмотря на холодное время года; в этот бледный, словно насыщенный солнечной пылью день большой магазин так и кишел людьми: торговля шла полным ходом.

У Денизы было такое ощущение, точно она смотрит на машину, содрогающуюся под высоким давлением от недр своих до самых витрин. Сейчас перед нею были уже не те холодные выставки, которые она видела утром; они казались согретыми и словно трепещущими от внутреннего волнения. Люди разглядывали их, женщины останавливались, толпились перед окнами, озверев от вожделения. И ткани оживали под действием страстей, кипевших на улице: кружева чуть колыхались, таинственно скрывая за своими ниспадающими складками недра магазина; даже толстые четырехугольные штуки сукна дышали соблазном; пальто на оживших манекенах принимали все более округлые формы, а роскошное бархатное мантио, гибкое и теплое, вздувалось, точно покоясь на женских плечах, облекая волнуемую грудь, трепещущие бедра. От магазина веяло жаром, как от фабрики, и этот жар исходил главным образом от прилавков, где шла оживленная продажа и была сутолока, которая чувствовалась даже за стенами здания. В помещении стоял непрерывный гул точно от машины, находящейся в движении и беспрестанно обрабатывающей покупательниц, – их сбивали в кучу перед прилавками, одурманивали товарами, а затем перебрасывали к кассам. И все это – с механической точностью, с силой и логикой передаточного механизма, захватывающего целые толпы женщин.

Денизу с самого утра снедало искушение. Этот магазин, казавшийся таким огромным, ошеломлял и привлекал ее; она заметила, что за один только час туда вошло больше народа, чем побывало у Корна за полгода. К ее желанию проникнуть туда примешивался смутный страх, который еще усиливал соблазн. В то же время дядина лавка вызывала в ней какое-то неприятное чувство. Это было необъяснимое презрение, инстинктивное отвращение, вызванное этой норой, где торговали по старинке. Все впечатления Денизы – ее робкий приход, сухая встреча родственников, унылый завтрак в тюремном сумраке, ожидание среди сонливого застоя старой, умирающей фирмы, – все это слагалось в глухой протест, в порыв к жизни и к свету. И, вопреки ее доброму сердцу, глаза ее беспрестанно обращались к «Дамскому счастью», словно ей, как продавщице, хотелось согреться в сверкании этой торжествующей торговли.

– Вот уж к кому народ валит! – вырвалось у нее.

Но, посмотрев на семейство Бодю, она пожалела об этих словах. Г-жа Бодю, позавтракав, вышла из-за стола и стояла теперь вся белая, устремив бесцветные глаза на чудовище. Хотя она и покорилась судьбе, все же зрелище огромного магазина на другой стороне улицы повергало ее в немое отчаяние, и слезы накапливались у нее на глазах. Женеви́ева с растущим беспокойством следила за Коломбаном, а тот, не зная, что за ним наблюдают, замирал в каком-то экстазе; его взор был устремлен на продавщиц отдела готового платья, которые были видны сквозь окна второго этажа. Сам Бодю ограничился желчным замечанием:

– Не все то золото, что блестит! Подождем!

Видно было, что все они стараются подавить приступ накопившей злобы. Самолюбие не позволяло им обнаружить свои чувства перед этими только что приехавшими детьми. Наконец, суконщик сделал над собой усилие и отвернулся, чтобы не видеть ненавистного магазина.

– Ну, – сказал он, – пойдем к Венсару. Места нарасхват: завтра, того гляди, уж и не будет.

Но прежде чем уйти, он приказал младшему приказчику съездить на вокзал за сундучком Денизы. А г-жа Бодю, которой девушка доверила Пепе, решила воспользоваться свободной минутой и отвести малыша на улицу Орти, к г-же Гра, чтобы столкнуться с ней. Жан обещал сестре никуда не уходить.

– Это всего в двух шагах отсюда, – пояснил Бодю, спускаясь с племянницей по улице Гайон. – У Венсара специальная торговля шелками, и дела пока еще идут неплохо. Слов нет, и ему трудно, как и всем, но он проныра и чертовски скуп, поэтому кое-как сводит концы с концами... Впрочем, мне кажется, что он собирается уйти от дел – у него сильный ревматизм.

Магазин Венсара находился на улице Нев-де-Пти-Шан, возле пассажа Шуазель. Помещение, обставленное соответственно требованиям новейшей роскоши, было чистое и светлое, но тесное; товаром магазин был не богат. Бодю и Дениза застали Венсара за деловым разговором с двумя мужчинами.

– Не беспокойтесь, – сказал суконщик Венсару. – Нам не к спеху, подождем.

Вернувшись из деликатности к двери, он наклонился к уху племянницы и прибавил:

– Худой – это помощник заведующего шелковым отделом «Счастья», а толстяк – лионский фабрикант.

Дениза поняла, что Венсар старается передать свой магазин Робино, продавцу из «Дамского счастья». Прикидываясь искренним и откровенным, он божился с легкостью человека, который готов клясться в чем угодно. По его словам, предприятие его – золотое дно; несмотря на свою пышущую здоровьем внешность, он принимался вдруг охать и плакаться, ссылаясь на проклятую болезнь, которая вынуждает его отказаться от такого богатства. Но Робино, нервный и издерганный, нетерпеливо перебил его: он знал о кризисе, который переживают магазины новинок, и напомнил об одном торговом доме, уже погубленном соседством «Счастья». Венсар, разволновавшись, возвысил голос:

– Черт возьми! Вабр – такой простофиля, что ему не миновать было банкротства. Его жена проматывала всё... Кроме того, от нас до «Счастья» почти километр, а Вабр находился у него под боком.

Тут в разговор вмешался Гожан, фабрикант шелков. Голоса снова понизились. Он обвинял большие магазины в разорении французской промышленности; три-четыре таких магазина диктуют цены и безраздельно царят на рынке; он говорил, что единственный способ борьбы с ними заключается в поддержке мелкой торговли, особенно в поддержке специализированных фирм, которым принадлежит будущее. Поэтому он предлагал Робино весьма широкий кредит.

– Посмотрите, как «Счастье» ведет себя в отношении вас! – твердил он. – Там не считаются с тем, какие услуги оказал человек магазину, там только эксплуатируют людей!.. Ведь вам уже давно было обещано место заведующего, а Бутмон, который пришел со стороны и не имел перед вами никаких преимуществ, получил его сразу.

Рана, нанесенная Робино этой несправедливостью, еще кровоточила. Однако он колебался взять магазин; он говорил, что деньги принадлежат не ему; это жена получила в наследство шестьдесят тысяч франков, и он страшно боится за эти деньги; он говорил, что скорее предпочел бы лишиться обеих рук, чем подвергнуть этот капитал риску, пустив его в сомнительные дела.

– Нет, я пока ничего не могу решить, – сказал он в заключение. – Дайте время подумать; мы еще поговорим.

– Воля ваша, – ответил Венсар, скрывая разочарование под напускным добродушием. – Я продаю в ущерб собственным интересам. Не будь я болен... – Он вышел на середину магазина: – Чем могу служить, господин Бодю?

Суконщик, прислушивавшийся краем уха к разговору, представил Денизу, рассказал то, что считал нужным о ее жизни, и прибавил, что она работала два года в провинции.

– А вы, я слышал, ищете хорошую продавщицу...

Венсар изъяснил глубочайшее сожаление:

– Ах, какая досада!.. Я действительно целую неделю искал продавщицу и нанял всего каких-нибудь два часа назад.

Водворилось молчание. Дениза чувствовала себя неловко. Тут Робино, участливо смотревший на нее и, вероятно, тронутый ее жалким видом, позволил себе дать совет:

– Я знаю, что нам нужен человек в отделе готового платья.

Бодю не мог сдержать крика, вырвавшегося у него прямо из сердца:

– К вам?! Ну нет! Этого еще недоставало!

Но он запнулся, смутившись. Дениза вся вспыхнула: она ни за что не осмелилась бы поступить в этот громадный магазин, и в то же время мысль, что она может быть там приказчицей, наполнила ее гордостью.

– Но почему же? – с удивлением спросил Робино. – Напротив, для мадмуазель это было бы большой удачей. Я советую ей прийти завтра утром к заведующей отделом, госпоже Орели. Худшее, что может случиться, – это что ее не примут.

Суконщик старался скрыть свое возмущение за неопределенными фразами: он знает г-жу Орели или по крайней мере ее мужа, Ломма, толстяка кассира, которому отрезало омнибусом правую руку.

– Впрочем, это ее дело, а не мое, – резко заключил он вдруг, – она вольна поступать, как хочет.

Он раскланялся с Гожаном и Робино и вышел. Венсар проводил его до двери, снова рассыпаясь в сожалениях, что не может исполнить его просьбу. Дениза нерешительно задержалась было в магазине, думая получить от Робино более подробные указания насчет работы, но не осмелилась прямо спросить и только пролепетала, прощаясь:

– Благодарю вас, сударь.

На улице старик не сказал племяннице ни слова. Он шел быстро, словно подгоняемый размышлениями; девушке приходилось почти бежать за ним. На улице Ла Мишодьер, когда он собирался уже войти к себе, его подозвал жестом сосед торговец, стоявший на пороге своей лавки. Дениза остановилась, чтобы подождать дядю.

– Что такое, папаша Бурра? – спросил суконщик.

Бурра был глубокий старик с головой пророка, длинноволосый и бородатый, с пронзительными глазами, глядевшими из-под густых, взъерошенных бровей. Он торговал тростями и зонтами и занимался их починкой, а также вырезал ручки, чем снискал себе в округе славу художника. Дениза бросила взгляд на витрину лавки, где ровными рядами выстроились зонты и трости. А когда она подняла глаза, самое здание еще больше изумило ее. Это был жалкий домишко, зажатый между «Дамским счастьем» и большим особняком в стиле Людовика XIV, неизвестно как выросший в этой тесной щели, где притаились два его низеньких этажа. Не будь опоры справа и слева, он весь, казалось, так и рухнул бы – и крыша с покривившимися и истлевшими черепицами, и фасад в два окна, покрытый трещинами и пятнами ржавчины, и деревянная полустертая вывеска.

– Знаете, он написал моему хозяину, что хочет купить дом, – сказал Бурра, устремив на суконщика пристальный, негодующий взгляд.

Бодю побледнел и пожал плечами. Наступило молчание. Старики стояли друг против друга с глубоко сосредоточенным видом.

– Надо быть ко всему готовым, – прошептал наконец Бодю.

Тут Бурра вспылел; тряхнув волосами и волнистой бородой, он воскликнул:

– Пускай покупает дом, ему придется заплатить втридорога!.. Но клянусь, пока я жив, он не попользуется тут ни одним камнем. Срок аренды кончается у меня только через двенадцать лет... Посмотрим еще, посмотрим!

Это было объявление войны. Бурра бросал вызов «Дамскому счастью», хотя ни Бодю, ни он сам не называли своего врага. Бодю молча покачал головой. Потом поплелся через улицу домой, волоча ослабевшие ноги и охая:

– Ох, боже мой!.. Боже мой!

Дениза, слышавшая их разговор, последовала за дядей. Г-жа Бодю уже возвратилась с Пепе и поспешила сообщить, что г-жа Гра в любое время возьмет ребенка. Зато Жан исчез, и это беспокоило сестру. Когда он, наконец, возвратился и с увлечением, весь сияющий, принялся рассказывать о бульварах, она взглянула на него так грустно, что он покраснел. Их багаж привезли, спать они будут наверху, под самой крышей.

– Да! Так что же у Венсара? – спохватилась г-жа Бодю.

Суконщик рассказал о неудачных хлопотах; потом прибавил, что племяннице указали одно место, и, с презрением ткнув рукой в направлении «Дамского счастья», буркнул:

– Там!

Вся семья почувствовала себя оскорбленной. По вечерам первая смена садилась за стол в пять часов. Денизу и двух мальчиков посадили вместе с Бодю, Женевьевой и Коломбаном. В маленькой столовой, освещенной газовым рожком, было душно; в спертom воздухе сильно пахло пищей. Обед прошел в молчании. Но за десертом г-жа Бодю, которой не сиделось на месте, пришла из лавки и стала позади племянницы. Тут сдерживаемый с утра поток прорвался, все дали волю своему негодованию и стали всячески поносить чудовище.

– Тебе, конечно, виднее... ты вольна поступать, как хочешь, – начал опять Бодю. – Мы не собираемся учить тебя... Но если бы ты только знала, что это за фирма!

И он вкратце отрывистыми фразами рассказал историю этого пройдохи Октава Муре. Вот кому везет! Мальчишка южанин, наделенный вкрадчивой наглостью авантюриста, попал в Париж и на другой же день завертелся в вихре любовных приключений, эксплуатируя то одну женщину, то другую; однажды он даже попался в прелюбодеянии; вышел такой скандал, что об этом еще до сих пор толкуют. И вдруг – неожиданная и необъяснимая победа над г-жою Эдуэн, в результате чего он стал владельцем «Дамского счастья».

– Бедная Каролина! – прервала мужа г-жа Бодю. – Она была нам немного сродни. Ах, будь она еще жива, все шло бы по-другому! Она не позволила бы разорять нас... И это он убил ее. Да, на своих постройках! Однажды утром она пришла посмотреть на работы и упала в яму. Три дня спустя она умерла. А ведь у нее было превосходное здоровье, и она была так хороша собой!.. Этот дом на ее крови построен!

Бледной, дрожащей рукой г-жа Бодю показала в сторону большого магазина. Дениза слушала, как слушают волшебные сказки, и по телу ее пробежала легкая дрожь. Быть может, страх, который с самого утра примешивался в ее душе к соблазнам «Дамского счастья», порожден был кровью этой женщины, кровью, которую Дениза, казалось, видела теперь на красной штукатурке подвального этажа.

– Можно подумать, что это принесло ему счастье, – добавила г-жа Бодю, не называя Муре.

Суконщик пожал плечами: он презирал эту бабью болтовню. Он снова стал рассказывать историю Муре, объясняя дело, как коммерсант. «Дамское счастье» было основано в 1822 году братьями Делез. По смерти старшего из них его дочь, Каролина, вышла замуж за сына фабриканта полотен, Шарля Эдуэна; позднее, овдовев, она вступила в брак с Муре и принесла ему в качестве приданого половину магазина. Три месяца спустя дядюшка Делез тоже умер;

детей у него не было; таким образом, после того, как Каролина погибла при закладке фундамента, Муре остался единственным наследником, единственным владельцем «Счастья». Вот кому везет!

– Это опасный выдумщик, смутьян; дать ему волю, так он взбудоражит весь квартал! – не унимался Бодю. – Я уверен, что Каролина, которая тоже была малость взбалмошна, увлеклась сумасбродными планами этого проходимца... Как бы то ни было, он убедил ее купить дом слева, потом дом справа, а сам, уже после ее смерти, купил еще два других; так магазин все разрастался и разрастался и теперь грозит всех нас поглотить!

Старик обращался к Денизе, но говорил больше для себя, подчиняясь потребности высказаться и пережевывая не дававшую ему покоя историю. Из всей семьи он был самый желчный, самый резкий и непримиримый. Г-жа Бодю сидела неподвижно и уже не прерывала его; Женевьева и Коломбан, опустив глаза, рассеянно подбирали и клали в рот хлебные крошки. В тесной комнатке было так жарко, так душно, что Пепе заснул за столом; у Жана тоже слипались глаза.

– Терпение! – воскликнул Бодю в порыве внезапного гнева. – Эти мошенники еще свихнут себе шею! У Муре сейчас большие затруднения, я знаю. С него станет пустить по ветру все доходы ради безумной страсти к расширению и рекламе. Чтобы нахватать побольше денег, он уговорил своих служащих поместить в дело все их сбережения. Теперь он без гроша, и если не случится чуда, если он не добьется, как рассчитывает, втрое большего сбыта, вот увидите, какой будет крах!.. Ах, я человек не злой, но тогда, честное слово, устрою иллюминацию!

Он жаждал возмездия, словно с разорением «Дамского счастья» должна была восстановиться честь опозоренной торговли. Виданное ли дело? Магазин новинок, где торгуют решительно всем! Что это, ярмарка, что ли? А приказчики там тоже хороши; это какая-то орава шалопаев: суетятся точно на вокзале, обращаются с товарами и покупателями, как с тюками, уходят от хозяина или сами получают расчет из-за какого-нибудь невпадат сказанного слова. Ни привязанности, ни правил, ни знания дела! И Бодю неожиданно призвал в свидетели Коломбана: уж он-то, Коломбан, пройдя хорошую школу, отлично знает, как медленно, зато верно, постигаются все тонкости и уловки их ремесла. Искусство заключается не в том, чтобы продать много, а в том, чтобы продать дорого. Коломбан мог бы рассказать, как с ним обращаются, как его сделали членом семьи, как ухаживают за ним, случись ему заболеть, как на него стирают и штопают, как отечески за ним присматривают, как его, наконец, любят.

– Еще бы! – поддакивал Коломбан после каждого выкрика хозяина.

– Ты у меня последний, голубчик, – заключил в умилении Бодю. – Таких, как ты, у меня уже не будет... Ты мое единственное утешение, потому что если торговлей называется теперь подобный кавардак, то я в нем ничего не смыслю и предпочитаю отстраниться.

Женевьева, склонив голову, словно под тяжестью густых черных волос, обрамлявших ее бледный лоб, смотрела на улыбающегося приказчика: в ее взгляде было подозрение, желание проверить, не покраснеет ли он от всех этих похвал, не заговорит ли в нем совесть. Но, еще с детства привыкнув к лицемерным приемам торговли по старинке, этот широкоплечий малый с хитрой складочкой в углах губ сохранял полнейшее спокойствие и добродушный вид.

А Бодю расходился все больше и больше; указывая на скопище товаров в магазине напротив, он разоблачал этих дикарей, которые в борьбе за существование истребляют друг друга и доходят даже до подрыва семейных устоев. Он привел в пример своих деревенских соседей Ломмов: мать, отца и сына; все трое служат в «Дамском счастье». Их никогда не бывает дома, у них нет семенного очага, они обедают у себя только по воскресеньям и ведут жизнь трактирных завсегдатаев! Конечно, столовая у Бодю невелика, ей даже немного недостает света и воздуха, но здесь по крайней мере протекают все его дни, здесь он живет, согретый ласковым вниманием близких. Разглагольствуя таким образом, Бодю обводил взором комнатку и содрогался

при мысли, – в которой сам не смел себе сознаться, – что может настать день, когда варвары вконец разорят его дело и выселят его из этой норы, где ему так уютно с женой и дочерью.

Несмотря на уверенность, с какой он предрекал неминуемое банкротство «Счастья», его в глубине души охватывал ужас: он отлично сознавал, что ненавистные ему люди постепенно завоевывают, захватывают весь квартал.

– Но это я говорю не затем, чтобы внушить тебе к ним отвращение, – промолвил он, стараясь успокоиться. – Если тебе выгодно поступить туда, я первый скажу: «Поступай».

– Я так и думаю, дядя, – прошептала смущенная Дениза: неистовая речь старика только усилила ее желание попасть в «Дамское счастье».

Он облокотился о стол и уставился на нее пристальным взглядом.

– Но скажи мне, ты ведь немного смыслишь в этом деле, разумно ли, по-твоему, чтобы обычный магазин новинок пускался в продажу всякой всячины? В былые времена, когда торговлю вели честно, под словом «новинки» подразумевались одни лишь ткани. Сейчас же эти господа только и думают, как бы сесть соседям на шею и все слопать. Вот на что жалуется весь квартал: ведь мелкие коммерсанты начинают терпеть ужасные убытки. Проклятый Муре разоряет их... Посмотри: Бедоре с сестрой, торгующие чулками на улице Гайон, уже лишились половины своих покупателей. Мадмуазель Татен, торгующей бельем в пассаже Шуазель, пришлось понизить цены, чтобы устоять против конкуренции... И этот бич, эта зараза распространилась на весь наш квартал, вплоть до улицы Нев-де-Пти-Шан, где находится меховая торговля братьев Ванпуй; они, говорят, тоже не в силах выдержать натиска... Вот о чем только и слышишь вокруг. Аршинники торгуют мехами, не потеха ли это, скажи на милость? И все это выдумки Муре!

– А перчатки? – вставила г-жа Бодю. – Прямо чудовищно! Он вздумал открыть целый отдел перчаток!.. Вчера, когда я проходила по улице Нев-Сент-Огюстен, Кинет стоял на пороге своей лавки такой расстроенный, что у меня не хватило духу спросить его, как идут дела.

– А зонтики? – продолжал Бодю. – Уж дальше идти некуда. Бурра убежден, что Муре просто решил пустить его по миру. Иначе как же согласовать зонты с тканями?.. Но Бурра молодчина, он себя в обиду не даст. На днях мы еще посмеемся!

Бодю перебрал и других коммерсантов, он произвел смотр всему кварталу. Иногда у него вырывались признания: уж если Венсар хочет продать свое дело, то всем, значит, остается только закрыть лавочку, потому что Венсар из тех крыс, которые первыми бегут с корабля, стоит только появиться течи. И тут же Бодю начинал противоречить себе, мечтая об объединении, о соглашении мелких торговцев для противодействия колоссу. Ему хотелось поговорить и о себе, но он сдерживался; руки у него дрожали, рот судорожно подергивался. Наконец, он не утерпел:

– Мне пока что нечего жаловаться. Конечно, убытки он и мне причинил! Но он держит еще только дамские сукна: легкие для платьев, поплотнее – для манто. За мужским же товаром по-прежнему идут ко мне: за охотничьим бархатом, ливреями, не говоря уже о фланели и мольтоне; и тут-то уж я ему не уступаю, у меня выбор куда богаче... Но он явно хочет досадить мне, не зря он расположил отдел сукон напротив моих окошек. Ты ведь видела его витрины? Он нарочно выставляет в них готовые наряды и сукна целыми штуками – как ярмарочный зазывала, приманивающий девок... Право, я сгорел бы от стыда, если бы стал прибегать к подобным средствам! Вот уже сто лет, как «Старый Эльбёф» всем известен, и у его двери никогда не было никаких ловушек. Пока я жив, лавка останется такой же, какой я ее получил, с четырьмя штуками образцов справа и слева, – и только!

Волнение постепеннохватило всю семью. Наконец, Женевьева отважилась прервать наступившую было паузу:

– Наши покупатели нас любят, папа. Не надо терять надежду... Еще сегодня приходили госпожа Дефорж и госпожа де Бов. Я жду и госпожу Марти, ей нужна фланель.

– Я принял вчера заказ от госпожи Бурделе, – вставил Коломбан. – Правда, она говорила, что английский шевиот продается напротив на десять су дешевле и будто бы не уступает нашему.

– И подумать только, что мы знали этот торговый дом, когда он был величиною с носовой платок! – уныло заметила г-жа Бодю. – Поверишь ли, дорогая Дениза, когда Делезы основали фирму, у них была всего-навсего одна витрина на улице Нев-Сент-Огюстен, – нечто вроде стенного шкафа, где едва хватало места для двух-трех штук ситца и коленкора. В лавке невозможно было повернуться, до того она была тесна... А «Старый Эльбёф» в ту пору насчитывал свыше шестидесяти лет и уже был таким, каким ты видишь его сегодня... Ах, все изменилось, и как изменилось-то!

Она покачала головой, в ее медлительной речи звучала вся трагедия ее жизни. Она родилась в «Старом Эльбёфе» и любила в нем все, вплоть до его сырых камней: она жила только им и для него. Некогда она гордилась этим торговым домом, самым солидным в квартале, с самой большой клиентурой; теперь же она бесконечно страдала, видя, как мало-помалу разрастается соперничающее предприятие, которым сначала все пренебрегали, пока оно не окрепло и, наконец, не стало главенствовать и угрожать соседям. Это было для нее вечно открытой раной; она умирала от унижения «Старого Эльбёфа» и, подобно ему, жила только по инерции, сознавая, что агония лавки будет ее собственной агонией и что она умрет в тот самый день, когда лавка закроется.

Наступило молчание. Бодю пальцами выбивал на клеенке барабанную дробь. Он устал и даже досадовал на то, что опять позволил себе отвести душу. Но вся семья продолжала уныло вспоминать и перетраживать свои невзгоды. Никогда-то им не улыбалось счастье! Дети подросли, родители стали было сколачивать состояние, и вдруг началась конкуренция, а с нею – разорение. К тому же надо было содержать еще дом в Рамбуйе, деревенский дом, куда суконщик вот уже десять лет мечтал удалиться на покой. Это была, по словам Бодю, «покупка по случаю», но старинное каменное строение постоянно требовало ремонта, и он решил сдавать дом внаем; однако арендной платы не хватало на покрытие расходов. На это уходили его последние барыши; такова была единственная слабость этого до щепетильности честного человека, упорно державшегося старинных обычаев.

– Ну, – заключил он внезапно, – надо и другим уступить место... Довольно без толку болтать!

Все семейство словно очнулось от дремы. Газовый рожок шипел, в комнатке было душно и жарко. Все поспешно поднялись, тягостная тишина была нарушена. Только Пепе спал, да так крепко, что его уложили тут же, на кипах мольтона. Беспрестанно зевавший Жан опять стал у входной двери.

– Словом, поступай, как хочешь, – повторил Бодю племяннице. – Мы с тобой просто поговорили о положении вещей, вот и все... В твои дела мы не вмешиваемся.

Он пристально смотрел на нее, ожидая решительного ответа. Но все эти рассказы вызвали в Денизе вместо отвращения только еще больший восторг перед «Дамским счастьем». Девушка казалась по-прежнему спокойной и ласковой, но в глубине ее души таилась упрямая воля нормандки. Она только молвила в ответ:

– Посмотрим, дядя, – и заговорила о том, что ей с детьми нужно пораньше лечь спать, потому что они очень устали.

Однако пробило всего только шесть часов, и она решила побыть еще немного в лавке. Наступил вечер. Дениза заметила, что мостовая потемнела и блестит от мелкого, частого дождя, не прекращавшегося с самого захода солнца. Она удивилась: за какие-нибудь несколько мгновений вся улица покрылась лужами и потекли потоки мутной воды. Пешеходы растаптывали густую липкую грязь, в сумерках сквозь проливной дождь виднелись только смутные очертания зонтиков, которые сталкивались, раздвигались, словно большие темные крылья.

Девушка шагнула было в глубь лавки, съезжившись от холода, но когда она бросила взгляд на тускло освещенное помещение, еще более мрачное в этот час, сердце ее сжалось. Сюда проникало влажное дыхание улицы, доносились отголоски жизни старинного квартала: казалось, будто вода, струящаяся с зонтов, просачивается до самых прилавков, будто лужи и грязь мостовой проникают в нижний этаж ветхого здания и пропитывают плесенью его стены, и без того уже побелевшие от сырости. Это был словно призрак старого, сырого Парижа. И Дениза дрожала как в лихорадке, она и ужасалась и дивилась, видя этот огромный город таким холодным и некрасивым.

А по другую сторону улицы, в «Дамском счастье», загорались убегающие вглубь ряды газовых рожков. И Дениза сделала шаг вперед, вновь увлеченная и как бы согретая этим пылающим очагом. Машина по инерции все еще работала и продолжала хрипеть и грохотать, выпуская последние пары, но приказчики уже свертывали материи, а кассиры подсчитывали выручку. Сквозь запотевшие стекла все это представало в виде смутного кишения огней, точно некая причудливая фабрика. За дождевой завесой зрелище это казалось далеким, призрачным и похожим на гигантскую топку, где на фоне багрового пламени котлов мелькают черные тени кочегаров. Витрины тонули во мраке: там можно было различить теперь только снег кружев, белизну которых оживлял матовый свет газовых рожков; а в глубине этой часовни мощно вздымались готовые наряды, и чудесное бархатное манто, отделанное серебристой лисицей, казалось силуэтом великолепной безголовой женщины, которая под проливным дождем, в таинственных парижских сумерках, спешит на бал.

Зачарованная, Дениза подошла к самой двери, не замечая, что на платье ее попадают брызги дождя. В этот ночной час «Дамское счастье», сверкавшее, как раскаленный горн, окончательно покорило девушку. В большом городе, почерневшем и притихшем под дождем, в этом неведомом ей Париже оно горело, как маяк, оно казалось ей единственным светочем и средоточием жизни. Она замечталась о будущем, о службе в этом магазине. Ей придется много работать, чтобы вырастить детей, но будет в ее жизни и нечто другое, – она еще не знала, что именно, – что-то еще далекое, но она уже трепетала и от страха перед ним и от желания, чтобы оно поскорее свершилось. Денизе вспомнилась женщина, умершая во время закладки здания. Ей стало страшно: огни показались ей кровавыми, но мгновение спустя белизна кружев успокоила ее, надежда и радостная уверенность завладели ее сердцем; а тем временем дождевая пыль обдавала холодом ее руки и умеряла лихорадочное возбуждение, вызванное переездом в столицу.

– Это Бурра, – сказал чей-то голос за ее спиной.

Наклонившись, она увидела, что Бурра неподвижно стоит на улице, перед витриной, где она утром заметила целое сооружение из зонтов и тростей. Старик стоял в тени, поглощенный созерцанием победоносной выставки «Дамского счастья»; лицо его было скорбно; он даже не замечал дождя, который хлестал его непокрытую голову и струйками сбегал с седых волос.

– Какой дурак, – заметил голос, – ведь он простудится.

Дениза обернулась и увидела, что все семейство Бодю снова стоит за ее спиной. Как и Бурра, которого они считали дураком, они то и дело невольно возвращались к созерцанию этого зрелища, раздиравшего им сердце. Это было какое-то самоистязание. Женевьева сильно побледнела: она убедилась, что Коломбан любит тени продавщиц, мелькающими в окнах второго этажа; Бодю старался подавить в себе вновь вспыхнувшую злобу, а глаза его жены наполнились безмолвными слезами.

– Так, значит, завтра ты туда отправишься? – спросил, наконец, суконщик: его мучила неуверенность; он чувствовал, что племянница, как и все другие, покорена.

Она замялась, потом кротко сказала:

– Да, дядя, если только это вас не очень огорчит.

Глава II

На следующий день в половине восьмого Дениза стояла перед «Дамским счастьем». Она решила сначала явиться туда, а потом уж проводить Жана к его хозяину, который жил далеко, в верхней части предместья Тампль. Но, привыкнув рано вставать, она слишком поспешила выйти из дома: приказчики еще только начинали появляться. Боясь показаться смешной, она в нерешительности топталась на площади Гайон.

Холодный ветер обсушил мостовую. Из всех улиц, озаренных бледным утренним светом, торопливо выходили приказчики, ежась от первой зимней стужи, спрятав руки в карманы и подняв воротники пальто. Они шли большей частью поодиночке и исчезали в недрах магазина, не обменявшись ни словом, ни взглядом с сослуживцами, спешившими рядом с ними; другие шли по двое, по трое, занимая тротуар во всю его ширину и перекидываясь коротенькими фразами; все они, прежде чем войти, одним и тем же движением швыряли в сточную канавку окурки папиросы или сигары.

Дениза заметила, что многие из них, проходя мимо, заглядывают ей в лицо. И это еще больше смущало девушку. Она уже не чувствовала в себе смелости последовать за ними и решила, что войдет только после того, как поток прекратится; она покраснела при мысли, что в дверях может столкнуться со всеми этими мужчинами. Но шествие все продолжалось, и, чтобы избавиться от любопытных взглядов, Дениза медленно обогнула площадь. Вернувшись, она увидела перед подъездом «Дамского счастья» высокого, бледного и нескладного юношу, который, подобно ей, вот уже четверть часа, видимо, выжидал чего-то.

– Мадмуазель, – решился он наконец спросить ее, запинаясь, – вы не служите здесь продавицей?

Вопрос незнакомого человека привел Денизу в такое замешательство, что она ничего не ответила.

– Видите ли, – продолжал он, еще больше путаясь, – я подумал, нельзя ли мне сюда устроиться, а вы могли бы мне объяснить...

Он робел не меньше ее и рискнул обратиться к ней только потому, что, как ему казалось, и она тоже смущена.

– Очень была бы рада, сударь, – ответила она наконец. – Но я знаю не больше вашего; я тоже пришла сюда наниматься.

– Ах, вот как, – произнес он, совершенно растерявшись.

Оба густо покраснели и стояли в смущении друг против друга, тронутые сходностью своего положения, но не отваживаясь пожелать успеха товарищу по несчастью. Так как у них не хватало духу сказать еще что-нибудь, а смущение охватывало их все больше и больше, они неловко разошлись и стали дожидаться порознь в нескольких шагах друг от друга.

Приказчики все продолжали входить. Теперь Дениза слышала шуточки, которые они отпускали, проходя мимо и искоса поглядывая на нее. При мысли, что она служит для них забавой, ее смущение возросло еще больше, и она уже решила было побродить полчаса по окрестным улицам, но в эту минуту внимание ее привлек какой-то молодой человек, быстро приближавшийся по улице Пор-Маон. Очевидно, это был заведующий отделом, потому что все приказчики здоровались с ним. Он был высокого роста, с бледным лицом и холеной бородкой; глаза его, мягкие, бархатистые, цветом напоминали старое золото. Пересекая площадь, он равнодушно взглянул на Денизу, затем вошел в магазин, а она так и продолжала стоять, не шевелясь, взволнованная его взглядом, полная какого-то непонятного трепета, в котором тревога преобладала над восхищением. Страх окончательно завладел ею, и она медленно пошла вниз по улице Гайон, а потом по улице Сен-Рок, ожидая, когда к ней вернется мужество.

Однако то был больше, чем заведующий отделом, – то был Октав Муре собственной персоной. В эту ночь он совсем не спал, ибо после бала у знакомого биржевого маклера отправился ужинать в обществе приятеля и двух женщин, подобранных за кулисами какого-то маленького театра. На нем было застегнутое доверху пальто, скрывавшее фрак и белый галстук. Быстро поднявшись к себе, он умылся и переоделся; когда он затем сел за конторку в своем кабинете, вид у него был вполне бодрый, взгляд живой, а цвет лица такой свежий, словно он провел десять часов в постели. В обширном кабинете, обставленном дубовой мебелью с зеленой репсовой обивкой, единственным украшением был портрет той самой г-жи Эдуэн, о которой до сих пор еще судачили в квартале. С тех пор как ее не стало, Октав хранил о ней почтительное воспоминание и выказывал к её памяти сердечную признательность за то богатство, которым она осыпала его, выйдя за него замуж. И теперь, прежде чем взяться за векселя, лежавшие на его бюро, он улыбнулся портрету, как счастливый человек. Ведь именно сюда, к ней, возвращался он работать после своих проказ, выходя из альковов, куда его, молодого вдовца, завлекала жажда наслаждений.

В дверь постучали, и, не ожидая ответа, в кабинет вошел молодой человек, высокий и худой, с тонкими губами и заостренным носом; гладко причесанные волосы с пробивающейся сединой придавали ему весьма степенный вид. Муре поднял глаза и, продолжая подписывать, спросил:

– Хорошо спали, Бурдонкль?

– Благодарю вас, отлично, – ответил молодой человек и принялся неторопливо прохаживаться, словно у себя дома.

Бурдонкль, сын бедного фермера из окрестностей Лиможа, начал работать в «Дамском счастье» одновременно с Муре, когда магазин еще занимал только угол площади Гайон. Очень умный, энергичный, он, казалось, без труда мог бы затмить своего менее серьезного коллегу, рассеянного, с виду легкомысленного и вечно попадавшего во всякие подозрительные истории с женщинами; но у Бурдонкля не было ни проблесков таланта, присущих пылкому провансальцу, ни его смелости, ни его покоряющего изящества. Как человек разумный, он с самого начала покорно, без всякого сопротивления склонился перед Муре. Когда последний предложил своим служащим помещать деньги в его предприятие, Бурдонкль сделал это одним из первых, доверив Муре даже наследство, неожиданно полученное от тетки; и мало-помалу, пройдя через все ступени – продавца, помощника заведующего, потом заведующего отделом шелков, – он сделался компаньоном своего патрона, самым любимым и самым влиятельным, одним из шести пайщиков, которые помогали Муре управлять «Дамским счастьем», составляя нечто вроде совета министров при самодержце. Каждый из них ведал определенной областью. На Бурдонкля же было возложено общее наблюдение.

– А вы как спали? – спросил он фамильярно.

Когда Муре ответил, что совсем не ложился, Бурдонкль покачал головой и сказал:

– Вредно.

– Ну вот еще! – весело возразил Муре. – Я бодрее вас, дорогой мой. У вас глаза опухли от сна, вы отяжелели от излишнего благоразумия. Развлекайтесь! Это освежает голову!

Такие дружеские пререкания вошли у них в привычку. Прежде Бурдонкль колотил своих любовниц, потому что, по его словам, они мешали ему спать. Теперь же он и вовсе стал заправским женоненавистником, хотя вне дома, без сомнения, встречался с женщинами; но он умалчивал об этом: они занимали в его жизни слишком мало места. В магазине он ограничивался тем, что играл на страстях покупательниц, которых глубоко презирал за легкомыслие, побуждавшее их разоряться на дурацкие тряпки. Муре, наоборот, относился к женщинам с преувеличенным восторгом, преклонялся перед ними и льстил им, постоянно поддавался новым увлечениям, и это было своего рода рекламой для его фирмы; он, можно сказать, одной и той же лаской нежил весь женский пол, стараясь одурманить его и держать в своей власти.

- Вчера вечером я видел на балу госпожу Дефорж, – произнес он. – Она была прелестна.
- Не с ней ли вы потом и ужинали? – спросил помощник.

Муре возмутился.

- Что вы, это порядочная женщина, дорогой мой... Нет, я ужинал с Элоизой, девочкой из «Фоли». Она глупа, как пробка, но на редкость забавна!

Он взял новую пачку векселей и опять стал подписывать. Бурдонкль продолжал неторопливо расхаживать из угла в угол. Он бросил взгляд через высокие окна на улицу Нев-Сент-Огюстен, затем снова подошел к Муре:

- Знаете, они ведь отомстят.
- О ком это вы? – спросил Муре, уже потерявший нить разговора.
- Да о женщинах.

Муре повеселел еще больше; и тут перед собеседником обнажился весь его цинизм, который он скрывал под оболочкой чувственной экзальтации. Пожав плечами, он объявил, что выкинет их всех вон, как порожные мешки, лишь только они помогут ему сколотить состояние. Но упрямый Бурдонкль невозмутимо твердил:

- Они отомстят... Найдется одна, которая отомстит за всех. Этого не миновать.
- Не страшно! – воскликнул Муре, подчеркивая свой провансальский акцент. – Такая еще не родилась, мой милый. А если она и явится, вы ведь знаете...

Он поднял перо, помахал им и вонзил его в пустоту, словно кинжал в невидимое сердце. Помощник вновь зашагал взад и вперед; он, как всегда, преклонялся перед патроном, ум которого, не лишенный изъянов, ставил его, однако, в тупик... Бурдонкль, такой безупречный, такой разумный, бесстрастный, не способный на падение, все еще не понимал привлекательности порока, не понимал Парижа, отдающегося в поцелуе самому дерзновенному.

Наступило молчание, слышался только скрип пера Муре. Немного погодя он стал спрашивать Бурдонкля о большом базаре зимних новинок, который должен был открыться в следующий понедельник, и тот в ответ на отрывистые вопросы патрона давал ему исчерпывающие сведения. Это было чрезвычайно важное дело; торговый дом ставил на карту весь свой капитал, и толки, ходившие в квартале, в основе своей были правильны: Муре бросался в спекуляции как поэт, с таким блеском, с такой потребностью чего-то колоссального, что все, казалось, должно было трещать под его натиском. Это было новое понимание торговли, это было явное вторжение фантазии в коммерцию, то самое, что некогда так беспокоило г-жу Эдуэн и что еще теперь, несмотря на первые успехи, порою сильно смущало пайщиков. Патрона втихомолку упрекали в том, что он зарывается, говорили, что он действует опрометчиво и расширяет магазин, не убедившись предварительно в том, что число покупателей в достаточной мере возросло; пайщики приходили в ужас, когда он брал из кассы всю наличность для какого-нибудь нового рискованного хода и наполнял магазин грудami товаров, не оставляя в запасе ни гроша. Так и ради этого базара весь капитал, оставшийся после уплаты значительных сумм за переоборудование, был пущен в дело; опять предстояло либо победить, либо погибнуть. И, однако, среди этой всеобщей растерянности сам Муре был по обыкновению торжествующе весел и уверен в ожидающих его миллионах, как человек, которого женщины обожают и не могут предать. Когда Бурдонкль позволил себе выразить некоторые опасения по поводу чрезмерного расширения отделов, доходность которых пока что была под сомнением, Муре уверенно рассмеялся, воскликнув:

- Успокойтесь, дорогой мой, магазин и сейчас еще слишком мал!

Бурдонкль был совершенно ошеломлен; его охватил ужас, которого он даже не пытался скрыть. Магазин все еще слишком мал! Магазин новинок с девятнадцатью отделами, в которых занято четыреста три служащих!

- Ну да, конечно! – подтвердил Муре. – В ближайшие полтора года нам придется значительно расширить дело... Я серьезно об этом подумываю. Госпожа Дефорж обещала пригласить

силь к себе завтра одного крупного банкира и устроить мне с ним свидание... В общем, мы еще потолкуем, когда все немного прояснится.

Покончив с векселями, он встал и дружески потрепал компаньона по плечу; а тот с трудом приходил в себя. Этот ужас окружающих благоразумных людей забавлял Муре. Однажды, в припадке внезапной откровенности, которою он порой ошеломлял своих коллег, Муре объявил, что в сущности он куда больше еврей, чем все евреи мира; от отца, на которого он походил и внешним своим и внутренним обликом, он унаследовал веселый нрав, умение ценить деньги; матери же он был обязан вспышками неумной фантазии, которые, пожалуй, и были причиной большей части его удач, ибо он отлично сознавал неодолимую силу своей смелости, побеждающей все препятствия.

– Что ж, вы ведь знаете, что ваши пайщики пойдут за вами до конца, – сказал в заключение Бурдонкль.

Прежде чем спуститься в магазин для обычного обхода, они еще обсудили некоторые детали и рассмотрели образец чековой книжки, придуманной Муре для записи проданных товаров. Заметив, что вышедшие из моды, залежавшиеся товары раскупаются тем быстрее, чем больше доля, отчисляемая в пользу продавца, Муре ввел на основе этого наблюдения новые приемы торговли. Отныне он стремился заинтересовать продавцов во всем, что они продают; он им давал известный процент с малейшего лоскута материи, с малейшего проданного ими предмета; это нововведение взбудоражило всю торговлю новинками и обострило среди продавцов борьбу за существование, из которой хозяева извлекали выгоду. Борьба эта превратилась в руках Муре в движущую пружину, в организационный принцип, который он настойчиво проводил в жизнь. Он раздувал страсти, сталкивал интересы, позволял сильным поглощать слабых, а сам только тучнел на этой борьбе. Образец чековой книжки был одобрен: сверху, на корешке и на отрывном листе, значились название отдела и номер продавца; на обеих частях листка имелись графы для указания количества метров, обозначения товара и цены; продавцу оставалось только еще подписать листок, прежде чем отнести его в кассу. Это чрезвычайно упрощало контроль: достаточно было сличить листки, сданные кассой в стол учета, с корешками, оставшимися на руках у продавцов. А продавцы могли отныне каждую неделю без всяких затруднений получать причитающийся им процент и наградные.

– Нас теперь будут меньше обкрадывать, – с удовлетворением заметил Бурдонкль. – Вам пришла в голову превосходная мысль.

– Этой ночью я думал еще о другом, – ответил Муре. – Да, друг мой, ночью, за ужином... Я намерен выдавать небольшую премию служащим стола учета за каждую ошибку, которую они найдут при сверке записей проданного... Понимаете, тогда можно быть уверенным, что они не пропустят ни малейшей ошибки; скорее даже станут их сами выдумывать.

И он рассмеялся. Бурдонкль смотрел на него с восторгом. Это новое использование борьбы за существование восхищало его: Муре поистине обладал талантом администратора, он мечтал организовать работу предприятия таким образом, чтобы, эксплуатируя чужие аппетиты, медленно, но верно удовлетворять собственные. «Если хочешь выжать из людей все силы, – частенько говорил он, – и даже сыграть немного на их честности, их следует прежде всего столкнуть с их же потребностями».

– Ну что ж, пойдем, – сказал Муре. – Надо заняться базаром... Шелк вчера прибыл? Бутмон, вероятно, занят приемкой?

Бурдонкль последовал за патроном. Отдел приемки находился в подвале со стороны улицы Нев-Сент-Огюстен. Там вровень с тротуаром был устроен люк. Товары, сгруженные с фургонов, сначала взвешивали, затем спускали вниз, и они скользили, ударяясь о стенки, по крутому катку, дубовые части и скрепы которого блестели от постоянного трения ящиков и тюков. Все, что привозилось, попадало в магазин через этот зияющий трап: здесь шло непрерывное поглощение товаров, которые, как водопад, с шумом низвергались в подвал. Но

поистине неистощимые потоки струились по желобу в подвал в дни базаров: лионские шелка, английские шерстяные материи, французские полотна, эльзасский коленкор, руанские ситцы; иногда ломовым телегам приходилось становиться в очередь; тюки низвергались в пропасть с глухим шумом, словно камни в глубокую воду.

Проходя мимо, Муре на мгновение остановился перед катком. Работа кипела: вереница ящиков спускалась как бы сама по себе, – человеческих рук, которые сталкивали их сверху, не было видно, и казалось, что ящики низвергаются как воды некоего диковинного источника. Вслед за ящиками поползли тюки, которые переворачивались, точно катящиеся булыжники. Муре смотрел, не говоря ни слова. Но этот водопад товаров, приносивший с собою тысячи франков в минуту, зажигал в его светлых глазах огоньки. Никогда еще не было у него такого ясного сознания начавшейся битвы. Этот поток товаров надо было направить во все концы Парижа.

Он молча продолжал осмотр. В сером свете дня, проникавшем сквозь широкие отдушины, несколько служащих принимали грузы, между тем как другие, в присутствии заведующих отделами, вскрывали ящики и распаковывали тюки. Оживление, настоящее оживление верфей, наполняло все подземелье, – обширный подвал с цементированными стенами и с чугунными столбами, подпиравшими своды.

– Всё получили, Бутмон? – спросил Муре, подходя к широкоплечему молодому человеку, занятому проверкой содержимого одного из ящиков.

– Да, должно быть, всё, – ответил Бутмон. – Но мне еще придется считать целое утро.

Заведующий отделом наскоро проверял по накладной, правильно ли записан товар, который приказчик брал из ящика и выкладывал на большой прилавок. За ними тянулись другие прилавки, также заваленные товарами, которые проверялись целой толпой служащих. Всюду шла распаковка и приемка; казалось, всевозможные ткани перемешались здесь – их разглядывали, выворачивали наизнанку, расценивали среди неумолчного гула голосов.

Бутмон, уже ставший знаменитостью в торговых кругах, был круглолицый весельчак с черной как смоль бородой и красивыми карими глазами. Уроженец Монпелье, гуляка, хвастун, он был неважным продавцом, зато в деле закупок не знал себе равного. Его отправил в Париж отец, державший в провинции магазин новинок; но когда родитель решил, что молодой человек достаточно ознакомился с делом, чтобы стать его преемником в торговле, сын наотрез отказался возвратиться в родные края. С тех пор между отцом и сыном началось соперничество; отец, целиком ушедший в свою мелкую провинциальную торговлю, приходил в негодование, видя, что простой приказчик зарабатывает втрое больше, чем он; а сын посмеивался над папашей, работавшим по старинке, хвастался своими доходами и будоражил весь дом всякий раз, когда приезжал на побывку. Как и другие заведующие отделами, он получал сверх установленных трех тысяч жалованья известный процент с продажи. Обыватели Монпелье, изумленные и преисполненные почтения, без конца толковали о том, что сын Бутмона за прошлый год положил в карман пятнадцать тысяч франков; а ведь это только начало; люди предсказывали раздраженному отцу, что впереди не то еще будет.

Бурдонкль взял штуку шелка и как знаток стал внимательно его разглядывать. Это был фэй с серебристо-голубой каймой, знаменитый шелк «Счастье Парижа», при помощи которого Муре рассчитывал нанести соперникам решительный удар.

– А он действительно очень хорош, – сказал Бурдонкль.

– Не так хорош, как эффектен, – возразил Бутмон. – Один только Дюмонтейль и мог выделывать такую штучку... В последнюю мою поездку к нему, когда я повздорил с Гожаном, он соглашался перевести сто станков на выделку этого образца, но требовал прибавки по двадцать пять сантимов за метр.

Почти ежемесячно Бутмон отправлялся в Лион и несколько дней разъезжал по фабрикам; он останавливался в лучших гостиницах и был уполномочен платить фабрикантам налич-

ными. Вообще он пользовался неограниченной свободой и закупал что ему заблагорассудится, лишь бы только оборот его отдела каждый год увеличивался; сам он с этого получал известный процент. В общем, его положение в «Дамском счастье», как и всех других заведующих, было несколько особое: он являлся коммерсантом-специалистом в кругу специалистов по другим областям торговли, образующим в совокупности как бы население обширного торгового города.

– Итак, решено, – сказал он, – расцениваем шелк по пять франков шестьдесят... Вы знаете, это ведь почти себестоимость.

– Да, да, пять шестьдесят, – поспешил согласиться Муре, – ну а будь я один, я бы распродал его в убыток.

Заведующий отделом добродушно рассмеялся.

– Я только об этом и мечтаю... Это утроит продажу, а единственная моя задача – побольше выручить...

Зато Бурдонкль не улыбнулся; его губы были сжаты. Он получал процент с общей прибыли, и понижать цену было не в его интересах. Ему как раз и было поручено наблюдать за расценками и следить за тем, чтобы Бутмон, уступая единственно желанию продать побольше, не продавал со слишком маленькой прибылью. К тому же Бурдонкля вновь охватили сомнения: все эти комбинации, затеваемые с целью рекламы, были выше его понимания. Поэтому, собравшись с духом, он возразил:

– Если мы пустим его по пять шестьдесят, это все равно, что продавать в убыток, потому что нужно же покрыть накладные расходы, а они не пустячные... Его везде стали бы продавать по семь франков.

Тут Муре вспыхнул. Хлопнув рукою по шелку, он запальчиво воскликнул:

– Ну и прекрасно. Я просто хочу сделать подарок нашим покупательницам... Право, дорогой мой, вы никогда не научитесь понимать женщин. Подумайте только: ведь они будут рвать этот шелк друг у друга из рук!

– Еще бы не рвать, – перебил его компаньон, не унимаясь, – но чем больше они будут вырывать его, тем больше мы потеряем.

– Мы потеряем на товаре несколько сантимов, не спорю. Ну и что же? Подумаешь, велика беда! Зато мы привлечем сюда толпы женщин и будем держать их в своей власти, а они, обольщенные, обезумев перед грудями товаров, станут, не считая, опоражнивать кошельки. Все дело в том, дорогой мой, что их надо распалить, а для этого нужен товар, который бы их прельстил, который бы вызвал сенсацию. После этого вы можете продавать остальные товары по той же цене, что и в других местах, а покупательницы будут уверены, что у вас дешевле. Например, тафту «Золотистая кожа» мы продаем по семь пятьдесят – и по этой цене она всюду продается, – но у нас она сойдет за исключительный случай и с лихвой покроет убыток от «Счастья Парижа»... Вот увидите, увидите!

Он воодушевлялся все больше и больше.

– Поймите же! Я хочу, чтобы за неделю «Счастье Парижа» перевернуло весь коммерческий мир. Ведь этот шелк – наш козырь, он выручит нас и прославит. Все только и станут говорить что о нем; серебристо-голубая кайма будет греметь по всей Франции, из конца в конец... И вы услышите неистовые вопли наших конкурентов. У мелкой торговли будут снова подрезаны крылья. Всех этих старьевщиков, подыхающих в своих погребах от ревматизма, мы окончательно вгоним в гроб!

Служащие, проверявшие товары, с улыбкой слушали хозяина. Он любил говорить и убеждать в своей правоте. Бурдонкль снова уступил. Тем временем ящик опустел, и двое служащих принялись распаковывать другой.

– Однако фабрикантам это вовсе не улыбается, – сказал Бутмон. – В Лионе они настроены против вас, они утверждают, что вы разоряете их своей дешевизной... Знаете, Гожан поло-

жительно объявил мне войну. Он поклялся, что скорее откроет долгосрочный кредит мелким фирмам, чем примет мои условия.

Муре пожал плечами.

– Если Гожан не образумится, – ответил он, – ему не миновать банкротства... И что они ерепенятся? Мы расплачиваемся немедленно, берем все, что они производят; их-то меньше всего должна затрагивать дешевизна... Да что говорить – достаточно и того, что публика в барыше.

Приказчик опоражнивал второй ящик, а Бутмон сверял по накладным. Другой служащий метил товар на прилавке условным шифром, и проверка на этом заканчивалась; накладная же, подписанная заведующим отделом, передавалась наверх, в главную кассу. С минуту еще Муре смотрел на кипевшую вокруг работу, на суматоху, связанную с распаковыванием тюков, которые все прибывали и, казалось, грозили затопить подвал; затем он молча удалился в сопровождении Бурдонкля, с видом полководца, довольного своими войсками.

Они не спеша прошли через весь подвал. Там и сям сквозь отдушины пробивался бледный свет; в темных углах и вдоль узких коридоров день и ночь горели газовые рожки. В этих коридорах хранились запасы; здесь, в маленьких, отгороженных решеткой skleпах, отделы держали излишки своих товаров. По дороге хозяин взглянул на калорифер, который должны были в первый раз затопить в понедельник, и на маленький пожарный пост у гигантского газового счетчика, заключенного в железную клетку. Кухня и столовая – бывшие погреба, переоборудованные в небольшие залы, – находились слева, в углу, выходившем на площадь Гайон. Наконец, Муре добрался до отдела доставки на дом, расположенного на другом конце подвала; сюда спускались свертки, не взятые с собою покупательницами; эти свертки сортировались на столах и распределялись по полкам, соответственно кварталам Парижа; затем по широкой лестнице, ведущей к подъезду прямо напротив «Старого Эльбёфа», их выносили к фургонам, стоявшим вдоль тротуара. В механизме «Дамского счастья» роль этой лестницы, выходившей на улицу Ла Мишодьер, сводилась к беспрестанному извержению товаров, которые поглощались желобом на улице Нев-Сент-Огюстен, а потом проходили наверху через всю систему магазина с его бесчисленными прилавками.

– Кампён, – обратился Муре к заведующему доставкой на дом, бывшему сержанту с худощавым лицом, – как это случилось, что шесть пар простынь, купленных вчера одной дамой около двух часов дня, не были доставлены ей вечером?

– А где живет эта дама? – спросил заведующий.

– На улице Риволи, возле улицы Альже... госпожа Дефорж.

В этот утренний час столы сортировки были пусты; в корзинах лежало лишь несколько свертков, оставшихся от вчерашнего дня. Пока Кампён рылся в этих свертках и справлялся по книге записей, Бурдонкль смотрел на Муре, думая о том, что этот необыкновенный человек все знает и обо всем заботится даже в ночных кабачках и в альковах своих любовниц. Наконец, заведующий доставкой выяснил ошибку: касса дала неверным номер дома, и сверток был доставлен обратно.

– Через какую кассу прошел товар? – спросил Муре. – Не слышу. Через десятую?

И он обернулся к Бурдонклю:

– Десятая касса – касса Альбера, не так ли?... Придется его пробрать.

Но прежде чем начать обход магазина, он пожелал подняться в экспедицию, занимавшую несколько комнат третьего этажа. Там сосредоточивались все заказы из провинции и из-за границы, и Муре заходил туда каждое утро взглянуть на корреспонденцию. За истекшие два года эта корреспонденция с каждым днем все возрастала. Экспедиция, где сначала работал десяток служащих, теперь нуждалась более чем в тридцати. Один распечатывал письма, другие, сидевшие на противоположном конце стола, читали их; третьи сортировали, нумеровали и ставили этот же номер на пустом ящике; потом письма распределялись по отделам, а

отделы приступали к отборке товаров, которые по мере поступления укладывались в ящики с соответствующими номерами. Наконец, оставалось только проверить товары и запаковать, что производилось в соседней комнате; здесь несколько рабочих с утра до вечера заколачивали ящики и перевязывали их веревками.

Муре по обыкновению спросил:

– Сколько сегодня писем, Левассер?

– Пятьсот тридцать четыре, господин Муре, – ответил заведующий экспедицией. – Боюсь, что после базара, который будет в понедельник, у меня не хватит людей. Вчера уже и так мы еле справились.

Бурдонкль с удовлетворением кивнул головой. Он не рассчитывал, что во вторник может быть пятьсот тридцать четыре письма. За столом, где служащие вскрывали и прочитывали письма, слышался несмолкаемый шелест бумаги, в то время как у ящиков уже начинали скапливаться товары. Работа экспедиции была одною из самых важных и сложных в предприятии: здесь трудились в постоянной горячке, ибо было строго установлено, что все заказы, полученные утром, должны быть отосланы к вечеру.

– Вам дадут людей, сколько потребуется, Левассер, – ответил Муре, с одного взгляда убедившись, что работа идет хорошо. – Вы же знаете, мы никогда не отказываем в людях, раз этого требует дело.

Наверху, под кровлей, находились комнаты, где жили продавщицы. Но Муре спустился вниз и вошел в главную кассу, расположенную возле его кабинета. Комната эта была разгорожена стеклянной перегородкой с окошечком в медной раме, в глубине ее виднелся громадный нестораемый шкаф, вделанный в стену. Два кассира собирали здесь выручку, которую сдавал им каждый вечер Ломм, главный кассир продажи; кроме этого, они оплачивали расходы, производили выплаты фабрикантам, служебному персоналу и всему мелкому люду, существовавшему за счет торгового дома. Касса сообщалась с другой комнатой, заваленной зелеными папками, где десяток служащих проверял накладные. Дальше был еще отдел – стол расчетов; здесь шестеро молодых людей, склонясь над черными конторками, заваленными множеством реестров, подытоживали ведомости проданных товаров и вычисляли проценты, причитающиеся продавцам. Учет этот, возникший совсем недавно, был еще не вполне налажен.

Муре и Бурдонкль прошли через кассу и отдел контроля. При появлении их в расчетном отделе молодые конторщики, весело точившие ляды, вздрогнули от неожиданности. Муре, ни единым словом не выказав своего недовольства, стал объяснять систему премий, которые он решил выплачивать за каждую ошибку, обнаруженную в чеках. Когда Муре вышел, все служащие, забыв о шутках, словно прищипоренные, лихорадочно принялись за работу в надежде обнаружить ошибку.

Спустившись этажом ниже, в магазин, Муре направился прямо к кассе № 10, где Альбер Ломм в ожидании покупательниц полировал себе ногти. В магазине стали открыто поговаривать о «династии Ломмов», с тех пор как г-жа Орели, заведующая отделом готового платья, устроила своего мужа на должность главного кассира, а потом добилась, чтобы одну из касс розничной продажи поручили ее сыну, долговязому юноше, бледному и развратному, который не мог удержаться ни на одной службе и доставлял матери немало хлопот. В присутствии молодого человека Муре, однако, почувствовал себя неловко: он считал, что не следует компрометировать себя, выступая в качестве жандарма; как в силу своей натуры, так и по тактическим соображениям он предпочитал являться в роли благосклонного божества. И он тихонько подтолкнул локтем Бурдонкля, блюстителя порядка: налагать кары обычно поручалось ему.

– Господин Альбер, – строго сказал Бурдонкль, – вчера вы опять перепутали адрес, и покупку не удалось доставить на дом... Это совершенно недопустимо.

Кассир стал оправдываться и призвал в свидетели рассыльного, который завертывал покупку. Этот рассыльный, по имени Жозеф, также принадлежал к династии Ломмов: он был

молочным братом Альбера и получил место благодаря той же г-же Орели. Кассир хотел, чтобы Жозеф свалил вину на покупательницу, но тот замялся, теребя бородку, непомерно удлинявшую его и без того длинное рябое лицо: совесть бывшего солдата боролась в нем с признательностью к покровителям.

– Оставьте Жозефа в покое, – вспыхнул, наконец, Бурдонкль. – И вообще поменьше возражайте... Счастье ваше, что мы так ценим безупречную работу вашей матушки!

В этот момент подбежал старик Ломм. Из его кассы, расположенной у двери, была видна касса сына, находившаяся в отделе перчаток. У совершенно седого, отяжелевшего от сидячей жизни Ломма было дряблкое, невзрачное лицо, как бы потускневшее от блеска денег, которые он непрерывно считал. Одна рука у него была ампутирована, но это ничуть не мешало ему работать, и иной раз служащие из любопытства ходили даже смотреть, как он проверяет выручку, – до того быстро скользили ассигнации и монеты в его левой, единственной руке. Он был сыном сборщика налогов в Шабли, а в Париж попал, нанявшись вести торговые книги у некоего коммерсанта в Порт-о-Вэн. Поселившись на улице Кювье, он женился на дочери своего привратника, мелкого портного, эльзасца; и с этого дня он оказался в подчинении у жены, перед коммерческими способностями которой искренне преклонялся. Она, как заведующая отделом готового платья, зарабатывала более двенадцати тысяч франков, в то время как он получал только пять тысяч положенного жалованья. Его почтение к жене, приносившей в хозяйство такие суммы, распространилось и на сына, как на ее создание.

– Что случилось? – забеспокоился он. – Альбер в чем-нибудь провинился?

Тогда на сцену, как всегда, выступил Муре в роли доброго принца. Если Бурдонкль нагнал страху, то Муре заботился прежде всего о своей популярности.

– Пустяки, дорогой Ломм, – сказал он, – ваш Альбер вертопрах, ему следовало бы брать пример с вас.

Чтобы переменить тему разговора и показать себя с еще более выгодной стороны, он спросил:

– А как прошел вчерашний концерт? У вас было хорошее место?

На бледных щеках старого кассира выступил румянец. Музыка была его единственной слабостью, тайным пороком, который он удовлетворял в одиночестве, бегая по театрам, концертам, репетициям; сам он, несмотря на ампутированную руку, играл на валторне, пользуясь для этого им же изобретенной системой щипчиков. Но его жена ненавидела шум; поэтому он окутывал инструмент сукном и по вечерам доводил себя до экстаза странными, глухими звуками, которые ему удавалось из него извлекать. В музыке он обрел себе прибежище от неурядиц семейной жизни. Кроме музыки и кассы, он не ведал других увлечений, если не считать преклонения перед женой.

– Место было отличное, – ответил он, и глаза его заблестели. – Благодарю за внимание, господин Муре.

Октав Муре любил ублажать чужие страсти; поэтому он отдавал иногда Ломму билеты, навязанные ему дамами-благотворительницами. И тут он окончательно покорила кассира, воскликнув:

– Да, Бетховен! Моцарт!.. Какие гении!

И, не ожидая ответа, он отошел к Бурдонклю, который уже собирался начать обход магазина. В центральном зале, представлявшем собою внутренний двор под стеклянной крышей, помещался отдел шелков. Муре и Бурдонкль отправились сначала на галерею, тянувшуюся вдоль улицы Нев-Сент-Огюстен и из конца в конец занятую бельем. Не заметив здесь никаких отступлений от правил, они медленно прошли мимо почтительных продавцов и повернули в отделы цветных ситцев и трикотажа; там царил такой же порядок. Но в отделе шерстяных материй, расположенном во всю длину галереи, выходявшей под прямым углом к улице Ла Мишодьер, Бурдонкль снова вошел в роль великого инквизитора при виде юноши, сидевшего

на прилавке, бледного от бессонной ночи. Этот юноша, по имени Лъенар, сын богатого торговца новинками в Анже, покорно выслушал замечание: он боялся только одного – как бы отец не отозвал его в провинцию, положив тем самым конец его жизни в столице, жизни, полной развлечений, беспечности и лени. С этой минуты замечания посыпались градом, и по галерее вдоль улицы Ла Мишодьер пронеслась настоящая гроза: один продавец в отделе сукон, из числа новичков, служивших пока без жалованья и ночевавших у себя в отделе, осмелился возвратиться в магазин после одиннадцати вечера; младший продавец из отдела портновского приклада был застигнут в подвале с папироской. В отделе перчаток буря разразилась над головой одного из немногих парижан, служивших в этой фирме; это был незаконный сын арфистки, «красавец Миньо», как его тут звали. Преступление молодого человека заключалось в том, что он учинил в столовой скандал из-за плохой пищи. Служащие обедали в три очереди: одна – в половине десятого, другая – в половине одиннадцатого, третья – в половине двенадцатого; приказчик этот возмущался тем, что, обедая в третью очередь, постоянно получает остатки, да к тому же и порции всегда бывают меньше.

– Как! Вас плохо кормят? – с наивным видом вмешался, наконец, Муре.

Он выдавал всего-навсего полтора франка в день на человека, а шеф столовой, выжигавший, еще ухитрялся при этом набивать себе карман, так что обеды и в самом деле были отвратительны. Но Бурдонкль только пожал плечами: шеф, которому приходится готовить ежедневно четыреста завтраков и четыреста обедов, хотя бы и в три смены, конечно, не может изощряться в кулинарном искусстве.

– Все равно, – благодушно сказал хозяин, – я хочу, чтобы все наши служащие получали здоровую и сытную пищу... Я поговорю с шефом.

И жалоба Миньо была похоронена. Возвратясь к отправной точке обхода, Муре и Бурдонкль задержались у двери, среди зонтов и галстуков, и выслушали доклад одного из четырех инспекторов, на обязанности которых лежало наблюдать за порядком. Папаша Жув, отставной капитан, удостоенный отличия под Константиной, еще красивый мужчина с большим чувственным носом с величественной лысиной, пожаловался им на одного продавца, который на простое замечание с его стороны обозвал его «старикашкой». Продавец был немедленно уволен.

В этот час в магазине еще не было состоятельных покупателей. По пустынным галереям проходили только домашние хозяйки с соседних улиц. Инспектор, отмечавший у подъезда приход служащих, убрал список и теперь отдельно записывал опоздавших. То был момент, когда продавцы окончательно водворялись по отделам, которые были убраны и подметены уже к пяти часам утра. Каждый, силясь подавить зевок, вешал на место свою шляпу и пальто; лица приказчиков были еще бледны после сна. Одни переговаривались, поглядывая по сторонам, готовясь к новому трудовому дню; другие не спеша снимали зеленую саржу, которой накануне вечером прикрыли товары, предварительно сложив их как следует; и теперь перед их взорами появлялись симметрично разложенные стопки материй. Магазин прибрался и в спокойном, веселом утреннем блеске ожидал, когда сумятица продажи снова загромоздит его и он словно сожмется, заваленный горами полотна, шелка, сукна и кружев.

В ярком свете центрального зала, у прилавка шелковых товаров, двое молодых людей разговаривали, понизив голос. Один из них, невысокий коренастый юноша с миловидным розовым лицом, подбирая шелка по цветам для устройства витрины прилавка. Его звали Гютен; он был сыном содержателя кафе в Ивето; благодаря покладистому характеру и вкрадчивости, под которою таилось необузданное вожделение, он сумел за какие-нибудь полтора года стать одним из лучших продавцов; Гютен готов был все поглотить и всех сожрать, и не потому, что был голоден, а просто так – ради удовольствия.

– Послушайте, Фавье, на вашем месте я, честное слово, дал бы ему пощечину, – говорил он высокому сухопарому юноше с нездоровым цветом лица и желчным характером; юноша этот

родился в Безансоне, в семье ткачей; не отличаясь красотой, он под внешним бесстрашием скрывал незаурядную силу воли.

– Пощечинами ничего не добьешься, – флегматично возразил тот. – Уж лучше выждать.

Они говорили о Робино, который надзирал за продавцами, пока заведующий отделом был в подвале. Гютен исподволь подкапывался под Робино, потому что сам хотел занять место помощника заведующего. Еще в тот день, когда освободилось это вожаемое место, обещанное Робино, Гютен придумал привлечь Бутмона на свою сторону, оскорбить Робино и заставить его уйти. Однако Робино снес это, и с тех пор между ними началась глухая вражда. Гютен надеялся настроить против Робино весь отдел и выжить его посредством скверного отношения и обид. Внешне же он был с ним очень любезен, натравливая на помощника заведующего главным образом Фавье; последний, как продавец, по старшинству следовал за Гютеном и, казалось, был только его подголоском, хотя иной раз тоже позволял себе грубые выходки, в которых чувствовалась затаенная личная злоба.

– Шш! Семнадцать! – быстро сказал он приятелю, предупреждая этим условным возгласом о приближении Муре и Бурдонкля.

Те продолжали обход и появились в отделе шелков. Они подошли к Робино и потребовали объяснений по поводу бархата, отрезы которого были сложены стопками, загромождавшими стол. А когда Робино ответил, что больше некуда класть, Муре с улыбкой воскликнул:

– Ведь говорил же я вам, Бурдонкль, что магазин стал тесен! Настанет день, когда придется раздвинуть стены до самой улицы Шуазель. Вот увидите, какая давка будет в понедельник.

И он снова начал расспрашивать Робино и давать ему распоряжения относительно предстоящего базара, к которому готовились во всех отделах. Продолжая разговаривать, он уже несколько минут следил взглядом за Гютеном, не решавшимся расположить синие шелка рядом с серыми и желтыми; продавец несколько раз отступал назад, чтобы лучше судить о гармонии тонов. Наконец, Муре вмешался.

– Чего это ради вы решили щадить их зрение? – сказал он. – Не бойтесь, ослепляйте их... Вот так! Красный! Зеленый! Желтый!

Он брал штуки шелка одну за другой, разматывал ткань, мят ее, создавая ослепительные гаммы. Всеми было признано, что патрон – лучший в Париже мастер по части витрин, подлинный новатор, который в науке выставок был основателем школы резкого и грандиозного. Он стремился к созданию лавин из тканей, низвергающихся из разверстых ящиков, и хотел, чтобы они пламенели самыми яркими, усиливающими друг друга красками. У покупательниц, говорил он, должно ломить глаза, когда они выходят из магазина. Гютен, напротив, принадлежал к классической школе, придерживавшейся симметрии и гармоничности оттенков: он смотрел на разгоревшееся на прилавке пламя материй и не позволял себе ни слова критики, а только сжал губы в презрительную гримасу, как художник, оскорбленный подобной разнузданностью.

– Вот! – воскликнул Муре, закончив. – Так и оставьте... А в понедельник скажете мне, захватило это женщин или нет.

В ту самую минуту, когда он подошел к Бурдонклю и Робино, в зале появилась девушка; при виде выставки она замерла на месте. То была Дениза. Промешкав около часа на улице, вся во власти неодолимого приступа застенчивости, она наконец решилась войти. Но она была до такой степени смущена, что не понимала самых ясных указаний: служащие, которых она, запинаясь, спрашивала о г-же Орели, говорили ей, что надо подняться на второй этаж; Дениза благодарила, а затем поворачивала налево, если ей говорили повернуть направо; так она минут десять бродила по нижнему этажу, проходя отдел за отделом мимо насмешливо-любопытных или угрюмо-равнодушных продавцов. Ей хотелось бы бежать отсюда, но в то же время желание полюбоваться удерживало ее. Она чувствовала себя затерянной, совсем крошечной по сравнению с этой чудовищной машиной, еще находившейся в состоянии покоя; и ей чудилось, что

движение, от которого уже начинали содрогаться стены, должно непременно увлечь и ее за собой. Мысленно она сравнивала лавку «Старый Эльбёф», темную и тесную, с этим огромным магазином, пронизанным золотистым светом, и он представлялся ей еще больше, словно целый город с памятниками, площадями, улицами, – ей даже начинало казаться, что она так и не найдет госпожу Орели.

Она долго не осмеливалась войти в отдел шелков, высокий стеклянный купол которого и великолепные прилавки напоминали храм и приводили ее в трепет. Но когда Дениза, наконец, вошла, спасаясь от насмешек продавцов бельевого отдела, она сразу же точно споткнулась о выставку, устроенную Муре, и, несмотря на все ее замешательство, в ней проснулась женщина; щеки ее зарделись, она забыла обо всем на свете, всецело уйдя в созерцание пламенеющего пожара шелков.

– Смотри-ка, – шепнул Гютен на ухо Фавье, – та самая гусыня с площади Гайон.

Муре, делавший вид, что слушает Бурдонкля и Робино, был до глубины души польщен волнением этой бедной девушки, подобно тому как маркиза бывает взволнована грубым вожделением, промелькнувшим в глазах проезжего извозчика. Дениза вскинула глаза и еще больше смутилась, узнав молодого человека, которого она приняла за заведующего отделом. Ей почудилось, что он глядит на нее строго. Не зная, как выбраться отсюда, окончательно растерявшись, она снова обратилась к первому попавшемуся продавцу; им оказался стоявший рядом с ней Фавье.

– Где мне найти госпожу Орели? Скажите, пожалуйста!

Фавье, не отличавшийся любезностью, сухо бросил:

– На втором.

Дениза поблагодарила и, лишь бы поскорей избавиться от взглядов всех этих мужчин, снова повернулась было спиной к лестнице, но тут Гютен, только что обозвавший ее гусыней, невольно поддался врожденной галантности; он остановил ее и любезно сказал:

– Нет, вот сюда, мадмуазель... Пожалуйте...

Он сделал несколько шагов и проводил Денизу до лестницы, слева от зала. Тут он поклонился ей, улыбнувшись той самой улыбкой, какою улыбался всем женщинам.

– Наверху повернете налево... Отдел готового платья будет как раз перед вами.

Эта чарующая вежливость глубоко растрогала Денизу. То была словно братская помощь. Девушка подняла глаза, взглянула на Гютена, и все в нем умилило ее: красивое лицо, взгляд, улыбка, рассеявшая ее страх, голос, показавшийся ей успокоительно-ласковым. Сердце ее преисполнилось признательности, и, преодолевая смущение, она пролепетала:

– Вы очень любезны... Не беспокойтесь... Очень благодарна вам, сударь...

Но Гютен уже вернулся на место и с обычной грубоватостью тихонько заметил Фавье:

– Видал? Вот рохля-то!

Наверху девушка попала прямо в отдел готового платья. Это была обширная комната, уставленная по стенам высокими шкафами из резного дуба; зеркальные ее окна выходили на улицу Ла Мишодьер. Пять-шесть женщин, одетых в шелковые платья и имевших весьма кокетливый вид благодаря завитым шиньонам и приподнятым сзади кринолинам, суетились здесь, перебрасываясь отрывистыми фразами. Одна из них, высокая и худая, с непомерно длинным лицом и поступью вырвавшейся на волю лошади, прислонилась к шкафу, словно изнемогая от усталости.

– Скажите, где госпожа Орели? – снова спросила Дениза.

Продавщица презрительно посмотрела на ее жалкую одежду и ничего не ответила; потом повернулась к одной из сослуживиц, маленькой женщине с болезненно-бледным лицом, и спросила тоном оскорбленной невинности:

– Мадмуазель Вадон, вы не знаете, где заведующая?

Продавщица, развешивавшая ретонды по размеру, не потрудилась даже обернуться.

– Нет, мадмуазель Прюнер, не знаю, – прошептала она сквозь зубы.

Наступило молчание. Дениза не двигалась, но никто больше ею не интересовался. Подождав немного, она расхрабрилась и опять спросила:

– Как вы думаете, скоро вернется госпожа Орели?

Тогда помощница заведующей, которую Дениза еще не заметила, – тощая некрасивая вдова, с выдающейся вперед челюстью и жесткими волосами, – крикнула из недр шкафа, где она проверяла ярлыки:

– Если хотите говорить лично с госпожой Орели, так подождите. – И, обратившись к другой продавщице, прибавила: – Может быть, она в отделе приемки?

– Нет, госпожа Фредерик, не думаю, – отвечала та. – Она ничего не сказала; значит, где-нибудь поблизости.

Получив эти разъяснения, Дениза продолжала стоять. Здесь было несколько стульев для покупательниц, но ее не приглашали сесть, а сама она не осмелилась воспользоваться стулом, несмотря на то, что у нее от волнения подкашивались ноги. Очевидно, эти барышни почувляли в ней приказчицу, желающую поступить на место; они искоса рассматривали ее и раздвигали взглядом, недоброжелательно, с глухой враждебностью, как люди, сидящие за столом и не склонные потесниться, чтобы дать место постороннему. Замешательство Денизы все возрастало, она не спеша прошла через комнату и посмотрела в окно, чтобы набраться храбрости. Прямо напротив находился «Старый Эльбёф», со своим грязным фасадом и безжизненными витринами, и он показался ей столь жалким, столь убогим после той роскоши и оживления, среди которых она сейчас находилась, что вдобавок ко всему сердце у нее сжалось от чего-то, похожего на угрызение совести.

– Видали, – шепнула высокая Прюнер на ухо маленькой Вадон, – нет, вы видали ее ботинки?

– А платье-то! – прошептала та.

Глядя на улицу, Дениза чувствовала, как у нее за спиной перемывают ей косточки. Но она не могла сердиться на этих женщин. Ни та, ни другая не показались ей красавицами, – ни высокая, с шиньоном рыжих волос, ниспадавшим на лошадиную шею, ни маленькая, с кожей, цветом напоминавшей простоквашу, отчего ее плоское и словно бескостное лицо казалось на редкость дряблым. Клара Прюнер была дочерью сапожника из Вивейских лесов; в свое время ее развратили лакеи графини Марейль, в замок которой она приходила чинить белье; позднее она поступила в один из магазинов Лангра, а теперь в Париже вымещала на мужчинах тумачи, которыми отец разукрашивал ей спину. Маргарита Вадон, родом из Гренобля, где ее семья торговала полотном, была отправлена в «Дамское счастье», чтобы скрыть грешок – невзначай прижитого ребенка; теперь она вела себя примерно и скоро должна была вернуться в провинцию, чтобы взять на себя руководство лавкой родителей и выйти замуж за поджидавшего ее двоюродного брата.

– Ну, с этой можно будет не очень-то считаться, – сказала Клара, понизив голос.

Но тут в комнату вошла дама лет сорока пяти, и они сразу умолкли. Это была г-жа Орели, очень полная женщина, затянутая в черное шелковое платье; корсаж, туго облежавший массивные округлости плеч и груди, блестел на ней, как кираса. Ее черные волосы были гладко причесаны, большие глаза смотрели в одну точку; должность заведующей преисполняла ее сознанием собственного величия, и ее лицо со строгим ртом и полными, слегка отвисшими щеками, порой становилось напыщенным, как раскрашенная маска Цезаря.

– Мадмуазель Вадон, – произнесла она раздраженно, – что же вы не отослали вчера в мастерскую модель манто в талию?

– Там нужно было сделать поправку, сударыня, – ответила продавщица, – и госпожа Фредерик его задержала.

Помощница заведующей вынула модель из шкафа, и разговор продолжался. Когда г-жа Орели считала нужным настоять на своем, все склонялись перед ней. Она была до такой степени тщеславна, что не хотела называться г-жой Ломм – эта фамилия не нравилась ей, – а своего отца, привратника, выдавала за портного, якобы имевшего собственное заведение; она была добра только к податливым и льстиво-ласковым девицам, которые восторгались ею. Когда-то она держала мастерскую готовых нарядов и сама руководила всем делом, но ей не повезло, и она озлобилась, отчаявшись в возможности сколотить состояние и добиться чего-нибудь, кроме неудач. Даже теперь, после успеха в «Дамском счастье», где она зарабатывала двенадцать тысяч франков в год, она все еще, казалось, таила застаревшую злобу против людей и относилась к начинающим так же сурово, как отнеслась некогда жизнь к ней самой.

– Довольно рассуждать! – сухо заключила она. – Вы не понятливее остальных, госпожа Фредерик... Пусть сделают поправку сию же минуту.

Во время этого объяснения Дениза перестала смотреть на улицу. Она не сомневалась, что это и есть г-жа Орели, но была так напугана раскатами ее голоса, что продолжала стоять, не двигаясь с места. Приказчицы были в восторге, что им удалось стравить заведующую с помощницей, однако делали вид, что это их не касается, и продолжали заниматься своим делом. Прошло несколько минут, но никто так и не подумал выручить Денизу из затруднительного положения. Наконец сама г-жа Орели заметила девушку и, удивившись ее неподвижности, спросила, что ей нужно.

– Я жду госпожу Орели.

– Это я.

У Денизы пересохло во рту, руки похолодели, ее охватил страх, как бывало в детстве, когда она боялась, что ее высекут. Она пролепетала свою просьбу, но так невнятно, что пришлось повторить все сначала. Г-жа Орели уставилась на нее большими неподвижными глазами, и ни одна черта ее императорской маски не сооблаговолила смягчиться.

– Сколько же вам лет?

– Двадцать, сударыня.

– Как так двадцать? Да вам не дашь и шестнадцати!

Продавицы снова подняли головы.

– А я сильная! – поспешно добавила Дениза.

Госпожа Орели пожала могучими плечами. Затем изрекла:

– Ну что ж, я запишу вас. Мы записываем всех, кто просит о месте... Мадмуазель Прюнер, дайте мне список.

Списка никак не могли найти: он, должно быть, хранился у инспектора Жува. Высокая Клара как раз отправлялась на поиски, когда вошел Муре в сопровождении все того же Бурдонкля. Они заканчивали обход второго этажа; побывав уже в отделах кружев, шалей, мехов, декоративных тканей и белья, они дошли, наконец, до отдела готового платья. Г-жа Орели отошла в сторону и заговорила с ними о заказе на партию пальто, который она намеревалась поручить одной из больших парижских мастерских; она покупала обычно все сама, на собственную ответственность, но, когда дело касалось значительных закупок, советовалась с дирекцией. Бурдонкль рассказал ей о новой оплошности ее сына Альбера, и это, видимо, крайне расстроило ее; парень сведет ее в могилу; отец хоть и не блещет умом, зато по крайней мере ведет себя прилично. Династия Ломмов, неоспоримой главой которой была она, доставляла ей порою немало огорчений.

Между тем Муре, заметив Денизу, удивился про себя этой вторичной встрече с нею и, наклонившись к г-же Орели, спросил, что делает здесь эта девушка; когда же заведующая ответила, что та пришла наниматься, Бурдонкль, со свойственным ему презрением к женщинам, чуть не задохся от возмущения.

– Бросьте! – прошептал он, негодуя на подобную дерзость. – Вы шутите! Куда нам такую уродину.

– Что и говорить, неказиста, – согласился Муре, не осмеливаясь вступить за девушку, хотя он еще не забыл ее восторга перед устроенной им выставкой.

Тем временем принесли список, и г-жа Орели повернулась к Денизе. Девушка действительно не производила выгодного впечатления. Правда, она казалась очень чистенькой в своем черном шерстяном платье; бедность же ее костюма значения не имела, потому что продавщицу здесь снабжали установленной формой – черным шелковым платьем; но беда состояла в том, что у Денизы был очень тщедушный вид, а выражение лица – грустное. В продавщицы брали если не красивых, так по крайней мере приятных девушек. А под взглядами этих дам и мужчин, изучавших и оценивавших ее словно жеребенка на ярмарке, Дениза окончательно растерялась.

– Как вас зовут? – спросила заведующая, держа перо в руке и готовясь писать.

– Дениза Бодю, сударыня.

– Возраст?

– Двадцать лет и четыре месяца. – И дерзнув поднять глаза на смущавшего ее Муре, которого она теперь принимала за управляющего, потому что видела его всюду, она робко повторила: – Я только с виду слабая, а так я очень сильная.

Все улыбнулись. Бурдонкль с нетерпением разглядывал свои ноги. Слова Денизы, как нарочно, прозвучали среди обескураживающего молчания.

– В каком магазине вы служили... в Париже? – продолжала заведующая.

– Но ведь я приезжая, сударыня; я из Валони.

Опять неудача. Обычно в «Дамском счастье» требовали от приказчиц годичного стажа в одной из небольших парижских фирм.

Теперь Дениза пришла в полное отчаяние, и, не будь у нее мысли о детях, она ушла бы, чтобы положить конец этим бесплодным расспросам.

– У кого вы служили в Валони?

– У Корпая.

– Знаю, знаю; хорошая фирма, – вырвалось у Муре.

Обычно он не вмешивался в наем служащих, так как за персонал несли ответственность заведующие отделами. Но, обладая тонким чутьем во всем, что касается женщин, он почувствовал в этой девушке скрытую прелесть, незаурядное изящество и нежность, которых она и сама за собой не знала. Хорошая репутация места первой службы тоже имела большое значение; часто это решало вопрос о найме. Г-жа Орели продолжала более мягко:

– А почему вы ушли от Корпая?

– По семейным обстоятельствам, – отвечала Дениза, краснея. – Мы лишились родителей, я должна была содержать братьев... Да вот и рекомендация.

Рекомендация была превосходная. Дениза начала было уже надеяться, но следующий вопрос опять оказался весьма каверзным.

– А в Париже вас может кто-нибудь рекомендовать?... Где вы живете?

– У дяди, – прошептала она, сначала не решаясь назвать его из боязни, что племянницу конкурента ни за что не возьмут. – У моего дяди... Бодю, здесь, возле вас...

Тут в разговор снова вмешался Муре:

– Вот как? Вы племянница Бодю?... И это Бодю послал вас сюда?

– О нет, сударь!

Она не могла удержаться от улыбки – до того чудным показалось ей такое предположение. И она сразу словно преобразилась: лицо ее порозовело и как бы расцвело от улыбки немного крупного рта, серые глаза загорелись мягким огоньком, на щеках появились очаровательные

ямочки, даже светлые волосы, казалось, готовы были вспорхнуть, разделяя бесхитростную и чистую радость всего ее существа.

– Да она прехорошенькая! – шепнул Муре Бурдонкю.

Компаньон скучающим жестом показал, что не разделяет его мнения. Клара поджала губы, а Маргарита повернулась спиной.

Одна только г-жа Орели кивком головы одобрила Муре, когда он сказал:

– Напрасно дядя не пришел с вами, – его рекомендации было бы вполне достаточно... Говорят, будто он сердит на нас. А мы смотрим на вещи гораздо шире, и если он не в состоянии дать племяннице работу в своем предприятии, – что ж! – мы ему докажем, что ей достаточно было обратиться к нам, чтобы быть немедленно принятой. Передайте дяде, что я по-прежнему расположен к нему и что винить во всем следует не меня, а новые условия торговли. Да скажите ему, что он окончательно разорится, если будет упорствовать в своих нелепых воззрениях.

Дениза снова побледнела. Перед ней был сам Муре. Никто не произнес его имени, он сам назвал себя, и теперь она догадывалась, она понимала, почему при виде этого молодого человека ею овладело такое волнение – на улице, и в отделе шелков, и теперь. От этого волнения, в котором она сама не могла хорошенько разобраться, на сердце у нее становилось все тяжелее, как от непосильного бремени. Ей припомнились все истории, рассказанные дядей; они возвеличивали Муре, окружали его ореолом, делали его властелином страшной машины, которая с самого утра держала ее железными зубьями своих колес. И за его красивой головой, за его глазами цвета старого золота, за его холеной бородой ей почудился образ умершей женщины, г-жи Эдуэн, кровью которой цементированы камни этого дома. И, как вчера, по телу ее пробежала дрожь; она решила, что просто боится его.

Между тем г-жа Орели сложила список. Ей требовалась только одна продавщица, а было записано уже десять желающих. Но слишком ей хотелось угодить хозяину, чтобы колебаться. Просьба пойдет своим чередом, инспектор Жув наведет справки, даст заключение – тогда заведующая решит.

– Хорошо, мадмуазель, – величественно произнесла она, дабы сохранить свой авторитет. – Вам напишут.

Дениза в смущении постояла еще с минуту, не зная, как уйти от всех этих чужих людей. Наконец, она поблагодарила г-жу Орели; проходя мимо Муре и Бурдонкля, она поклонилась им, но они уже больше не обращали на нее внимания и даже не ответили на ее поклон, – они вместе с г-жою Фредерик внимательно разглядывали модель нового манто.

Клара с видом оскорбленной белоручки перемигнулась с Маргаритой, как бы предвещая, что новая продавщица встретит в их отделе не особенно дружелюбное отношение. Дениза, вероятно, чувствовала за спиной это безразличие и недоброжелательство; она спускалась по лестнице с той же тревогой, с какой и всходила; тоскливо спрашивала она себя, радоваться ей или огорчаться тому, что она пришла сюда. Может ли она рассчитывать на место? Она снова начала сомневаться: от смущения она никак не могла понять, чего же ей ждать. Из сегодняшних впечатлений особенно ярки были два, которые мало-помалу и стерли остальные: сильное до ужаса впечатление, произведенное на нее Муре, и любезность Гютена, явившаяся в то утро единственной ее отрадой и оставившая в ней восхитительно нежное воспоминание, наполнявшее ее благодарностью. Проходя по магазину к выходу, она глазами искала юношу, радуясь мысли, что может еще раз хоть взглядом поблагодарить его, и очень огорчилась, что он не встретился на ее пути.

– Ну как, мадмуазель, можно вас поздравить с успехом? – спросил ее взволнованный голос, когда она наконец очутилась на улице.

Она обернулась и увидела бледного, долговязого юношу, который утром обратился к ней с вопросом. Он тоже выходил из «Дамского счастья» и, казалось, был еще больше нее растерян и ошеломлен допросом, которому только что подвергся.

– Сама не знаю, сударь, – отвечала она.

– Вот и я тоже. Ну и чудно же они там рассматривают вас и расспрашивают!.. Я ищу место в отделе кружев, я уйду от Кревкера, с улицы Майль.

Снова они стояли друг перед другом, краснея и не зная, как расстаться. Наконец молодой человек с трудом преодолел робость и, чтобы сказать хоть что-то, осмелился спросить:

– Как вас зовут, мадмуазель?

– Дениза Бодю.

– А меня Анри Делош.

Теперь они улыбались. Схожесть положения сближала их, они протянули друг другу руки.

– Желаю успеха!

– И вам также!

Глава III

По субботам, от четырех до шести, г-жа Дефорж устраивала чай с пирожными для друзей. Ее квартира помещалась на четвертом этаже, на углу улиц Риволи и Альже; окна двух гостиных выходили в Тюильрийский сад.

В эту субботу лакей только было открыл перед Муре дверь в большую гостиную, как вдруг последний увидел г-жу Дефорж, проходившую через гостиную поменьше. Заметив его, она остановилась; он вошел с церемонным поклоном. Но как только лакей затворил за собой дверь, Муре с живостью схватил руку молодой женщины и нежно поцеловал ее.

– Осторожнее, у меня гости, – тихо сказала она, указывая на дверь большой гостиной. – Я ходила за этим веером, чтобы показать его.

И она шаловливо ударила Муре по лицу кончиком веера. Это была довольно полная брюнетка с большими ревнивыми глазами. Муре, задержав ее руку в своей, спросил:

– Он придет?

– Конечно, – сказала она, – он обещал.

Речь шла о бароне Хартмане, директоре «Ипотечного кредита». Г-жа Дефорж, дочь члена Государственного совета, была вдовой биржевика; муж оставил ей состояние, которое одни сильно преувеличивали, а другие вовсе отрицали. Еще при жизни мужа она, по слухам, выказывала особую признательность барону Хартману, известному финансисту, советы которого были очень полезны чете Дефорж; после смерти мужа связь Анриетты с бароном, по-видимому, продолжалась, но по-прежнему без лишнего шума – тихо и благоразумно. Г-жа Дефорж никогда не давала повода толкам, и ее принимали повсюду в кругах той высшей буржуазии, к которой она принадлежала по рождению. Теперь страсть банкира, умницы и скептика, перешла в простую отеческую привязанность; г-жа Дефорж, позволяя себе иметь любовников, которых он терпел, покорялась, однако, влечениям сердца с таким тонким чувством меры и такта, проявляла такое знание света, что внешние приличия всегда были строго соблюдены и никто не осмелился бы усомниться вслух в ее порядочности. Когда она встретила Муре у общих знакомых, он сначала внушил ей отвращение; но позднее она отдалась ему, увлеченная его стремительной страстью, и по мере того как он ловкими приемами все больше подчинял ее своей власти, имея в виду добиться от нее воздействия на барона, она понемногу все больше и больше проникалась к нему истинной и глубокой любовью. Она обожала его с пылкостью тридцатипятилетней женщины, которая уверяет, будто ей только двадцать девять, и приходила в отчаяние, сознавая, что он моложе ее и что она может его лишиться.

– Он знает, о чем идет речь? – спросил Муре.

– Нет, вы сами ему все объясните, – ответила она, переходя с ним на «вы».

Она смотрела на него и думала, что он, по-видимому, ничего не знает, раз обращается к ней с просьбой повлиять на барона; и, тем не менее, едва ли он считает последнего только ее давним другом. Но Муре по-прежнему держал ее руку, называл милой Анриеттой, и она чувствовала, как тает ее сердце. Она молча потянулась к нему и прижалась губами к его губам; потом шепнула:

– Шш! Меня ждут... Войди после меня.

Из большой гостиной доносились негромкие голоса, приглушенные штофными обоями. Анриетта толкнула дверь, обе створки которой распахнулись настежь, и передала веер одной из четырех дам, сидевших посреди комнаты.

– Вот он, – сказала она, – я уж думала, что горничная так и не найдет его. – И, обернувшись, весело прибавила: – Входите же, господин Муре, – через маленькую гостиную. Это будет не так торжественно.

Муре поклонился дамам; он был с ними знаком. Гостиная, несмотря на высокие потолки, была полна мягкого женского уюта: мебель в ней была обита полупарчой, затканной букетиками, в стиле Людовика XVI, кругом стояли растения в кадках, золоченая бронза. В окна виднелись тюильрийские каштаны, листья которых срывал октябрьский ветер.

– Ах, какие чудесные кружева! – воскликнула г-жа Бурделе, любуясь веером.

Это была блондинка лет тридцати, небольшого роста, с тонким носом и живыми глазами, подруга Анриетты по пансиону; она была замужем за помощником столоначальника министерства финансов. Происходя из старинной буржуазной семьи, она отличалась энергией, добродушием и врожденной практичностью, сама вела хозяйство и воспитывала троих детей.

– И ты заплатила двадцать пять франков за кусок? – спросила она, разглядывая каждую петельку кружев. – Что? Купила, говоришь, в Люке, у местной мастерицы?.. Нет, нет, это совсем недорого... Но тебе пришлось самой заказать оправу?

– Конечно, – ответила г-жа Дефорж. – А это стоило двести франков.

Госпожа Бурделе расхохоталась. Так вот что Анриетта называет удачной покупкой! Двести франков за простую оправу из слоновой кости и вензель! И всё из-за экономии в сто су на куске кружев шантильи! Да такие веера, готовые, можно найти по сто двадцать франков. И она назвала магазин на улице Пуассоньер.

Тем временем веер переходил из рук в руки. Рыжеволосая г-жа Гибаль, высокая и тонкая, еле взглянула на него. Лицо ее выражало полнейшее равнодушие, но серые глаза, несмотря на внешне бесстрастный вид, порою загорались чудовищной жадностью. Ее никогда не видели в сопровождении мужа, известного адвоката, который, по слухам, жил, как и она, независимо, целиком уйдя в свои дела и развлечения.

– Я за всю свою жизнь даже двух вееров не купила... – проговорила она, передавая веер графине де Бов. – Не знаешь, куда девать и те, что получаешь в подарок.

– Вы счастливица, дорогая моя, у вас такой любезный супруг, – с тонкой иронией заметила графиня и, наклонившись к дочери, высокой двадцатилетней девушке, прибавила: – Взгляни на вензель, Бланш. Какая прелестная работа!.. Из-за вензеля, должно быть, и обошлось так дорого.

Госпоже де Бов только что исполнилось сорок лет. Это была величественная женщина с наружностью богини, крупными и правильными чертами лица и большими томными глазами; ее муж, главный инспектор конских заводов, женился на ней из-за ее красоты. Тонкость работы вензеля, видимо, поразила графиню, зародив в ней волнующие желания, от которых потускнел ее взгляд. И неожиданно она спросила:

– А ваше мнение, господин Муре? Дорого двести франков за такую оправу?

Муре, все еще стоявший в окружении этих пяти женщин, с улыбкой наблюдал за ними, заинтересовавшись тем, что так интересовало их. Он взял веер, осмотрел его и уже хотел было ответить, как вдруг вошел лакей и доложил:

– Госпожа Марти.

Вошла худенькая, некрасивая женщина, обезображенная оспой, но одетая с изысканным изяществом. Возраст ее не поддавался определению: ей можно было дать то сорок, то тридцать лет в зависимости от того, какое у нее в данный момент настроение; на самом же деле ей было тридцать пять. На правой руке у нее висела красная кожаная сумка.

– Надеюсь, дорогая, – обратилась она к Анриетте, – вы извините меня за то, что я вторгаюсь к вам с сумкой... Представьте, по дороге сюда я зашла в «Счастье» и по обыкновению потеряла там голову... Мне не хотелось оставлять сумку внизу, у извозчика – еще, пожалуй, украдут. – Тут она заметила Муре и добавила, смеясь: – Ах, сударь, я вовсе не собиралась вас рекламировать, я даже не знала, что вы здесь... Но, право же, у вас сейчас исключительные кружева.

Это отвлекло внимание от веера, и молодой человек положил его на столик. Теперь дамам не терпелось увидеть покупки г-жи Марти. Всем известны были ее безумные траты, ее бессилие перед искушением, ее безупречная порядочность, которая не позволяла ей уступить настояниям поклонников, и в то же время ее беспомощность, ее податливость, лишь только дело касалось тряпок. Она родилась в семье мелкого чиновника, а теперь разоряла мужа, преподавателя младших классов в лицее Бонапарта; к шести тысячам жалованья ему приходилось добавлять еще столько же и бегать по частным урокам, чтобы удовлетворить требованиям беспрестанно растущего домашнего бюджета. Однако г-жа Марти не открывала сумки, крепко прижав ее к коленям; она рассказывала о своей четырнадцатилетней дочери Валентине; девочка была предметом ее кокетства и притом самым разорительным, ибо она наряжала дочь так же, как одевалась сама – по последней моде, которой вообще была не в силах противостоять.

– Знаете, – объясняла она, – этой зимой девушкам шьют платья с отделкой из мелких кружев... И естественно, когда я увидела восхитительные валансьенские кружева...

Наконец она решилась открыть сумку. Дамы уже вытянули шеи, как вдруг в наступившей тишине из передней донесся звонок.

– Это муж, – прошептала г-жа Марти, смутившись. – Он должен зайти за мной по дороге из лицея.

Она проворно закрыла сумку и инстинктивным движением спрятала ее под кресло. Дамы рассмеялись. Г-жа Марти покраснела и снова взяла сумку на колени, говоря, что мужчины все равно ничего не понимают, да им и незачем знать о таких вещах.

– Господин де Бов, господин Валаньоск, – доложил лакей.

Все удивились. Г-жа де Бов совсем не ожидала встретить здесь мужа. Граф де Бов, красивый мужчина с усами и бородой клинышком, отличавшийся военной выправкой и чарующей любезностью, так нравившейся в Тюильри, поцеловал г-же Дефорж руку; он знал ее еще девушкой, в доме ее отца. Затем он отступил в сторону, чтобы другой гость, высокий молодой человек, худосочный и бледный, как и положено аристократу, мог подойти к хозяйке дома. Но едва возобновился разговор, как двое присутствующих одновременно воскликнули:

– Как, это ты, Поль!

– Октав!

Муре и Валаньоск пожимали друг другу руки. Г-жа Дефорж была крайне удивлена. Так, значит, они знакомы? Еще бы, ведь они вместе учились в Плассанском коллеже и, если им до сих пор ни разу не пришлось встретиться у нее, так это чистая случайность.

Все еще держась за руки и перекидываясь шутками, они прошли в маленькую гостиную, а в это время лакей внес серебряный поднос с китайским чайным сервизом и поставил его возле г-жи Дефорж, на мраморный столик с бронзовым ободком. Дамы уселись поближе друг к другу и заговорили громче; началась оживленная беседа. А г-н де Бов, стоя позади, время от времени наклонялся к дамам и вставлял какое-нибудь любезное замечание. Обширная комната, и без того уютная и веселая, еще больше оживилась от шумной болтовни и взрывов смеха.

– Ах, старина Поль, старина Поль! – повторял Муре.

Он сел на кушетку, около Валаньоска. Они были тут одни, вдали от посторонних ушей, в уголке маленькой гостиной, представлявшей собою кокетливый будуар, обтянутый золотистым шелком; отсюда в открытые настежь двери они могли наблюдать за дамами; старые приятели смеялись, оглядывали друг друга, похлопывали по коленке. Вся юность проносилась перед ними: старинный коллеж в Плассане, два его двора, сырые классные, столовая, где было съедено столько трески, дортуар, где подушки летали с постели на постель, как только раздавался храп воспитателя. Поль, отпрыск старинной судейской семьи, принадлежавшей к мелкому дворянству, разоренному и недовольному, был весьма искусен в сочинениях, шел всегда первым, и преподаватель постоянно ставил его в пример остальным, предсказывая ему блестящую будущность. Октав же, веселый толстяк, плелся с другими лентяями в хвосте класса

и растрачивал силы на грубые проказы за стенами коллежа. Несмотря на различие натур, их связывала тесная дружба; она длилась много лет – пока они не кончили коллеж и не стали бакалаврами, чего один достиг с блеском, другой же с большим трудом, после двух провалов. Впоследствии жизнь разлучила их, и вот теперь, спустя десять лет, они снова встретились, изменившиеся и постаревшие.

– Ну, кто же ты теперь? – спросил Муре.

– Да никто.

Несмотря на радость встречи, у Валаньоска был все тот же усталый и разочарованный вид. Муре удивился и стал настаивать:

– Но ведь занимаешься же ты чем-нибудь?.. Чем же?

– Ничем, – отвечал тот.

Октав рассмеялся. Ничего – это мало. И фраза за фразой он вытянул из Поля всю историю его жизни, обычную историю тех бедных юношей, которые считают, что по своему происхождению должны принадлежать к людям свободной профессии, и хоронят себя, пребывая в тщеславной посредственности, радуясь уже тому, что не умирают с голоду, несмотря на дипломы, которыми набиты ящики их стола. В соответствии с семейными традициями Поль стал изучать право и долго сидел на шее у матери, вдовы, и без того не знавшей, как пристроить двух дочерей. Наконец, ему стало совестно, и, предоставив трем женщинам кое-как перебиваться крохами их состояния, он поступил мелким чиновником в министерство внутренних дел, где и прозябал, как крот в своей норе.

– Сколько же ты зарабатываешь? – спросил Муре.

– Три тысячи.

– Какие гроши! Ах ты, бедняга, до чего же мне досадно за тебя! Как! Такой способный малый! Ведь ты всех нас за пояс мог заткнуть! И они платят тебе всего три тысячи, хоть ты уже целых пять лет тянешь эту лямку! Нет, это прямо-таки возмутительно!

Муре переменял тему и заговорил о себе.

– Что касается меня, то я с ними распрощался... Ты знаешь, кем я стал?

– Да, – сказал Валаньоск, – мне говорили, что ты пошел по коммерческой части. Ведь это тебе принадлежит большой магазин на площади Гайон, не правда ли?

– Да... Я, старина, стал аршинником!

Муре поднял голову и снова хлопнул приятеля по коленке, повторяя с солидной веселостью человека, который ничуть не стыдится обогатившего его ремесла:

– Аршинником в полном смысле слова!.. Ты ведь помнишь, мне никак не удавалось постичь их тонкостей, хотя в глубине души я отнюдь не считал себя глупее других. Я сдал экзамен на бакалавра, только чтобы не огорчать родных, но, раз уж я его сдал, я вполне мог бы стать адвокатом или врачом, как другие. Однако эти профессии пугали меня: слишком уж многие из тех, кто пошел по этому пути, подымают с голоду... Вот я и наплевал на диплом – о, без всяких сожалений! – и с головою окунулся в коммерцию.

Валаньоск смущенно улыбался; помолчав немного, он сказал:

– Конечно, для продажи полотна диплом бакалавра тебе не очень-то нужен.

– Право, – весело отвечал Муре, – единственное, что я от диплома требую, это чтобы он не стеснял меня... А знаешь, когда имеешь глупость связать себя по рукам и ногам, выпутаться бывает совсем не легко. Вот и ползешь в жизни черепашным шагом, в то время как другие, у кого ноги свободны, мчатся во всю прыть.

Но, заметив, что собеседник слегка нахмурился, Муре взял его за руку и продолжал:

– Я не хотел бы тебя огорчать, но признайся, что все твои дипломы не в состоянии удовлетворить ни одной из твоих потребностей. А знаешь, у меня заведующий отделом шелков получит за текущий год больше двенадцати тысяч франков. Конечно, у этого малого прекрасная голова, но все его образование состоит в умении писать да в знании четырех правил ариф-

метики... Обыкновенные продавцы зарабатывают у меня по три-четыре тысячи, то есть больше твоего, а они ведь не тратились на образование и не были выпущены в жизнь с писаной гарантией успеха... Конечно, зарабатывать деньги – это еще не все. Однако, если выбирать между беднягами, которыми переполнены свободные профессии, не обеспечивающие им даже куска хлеба, и практичными юношами, вооруженными для жизни отличным знанием своего ремесла, я – честное слово! – не колеблясь, отдаю предпочтение последним. Такие ребята, по-моему, отлично понимают дух своего времени!

Голос его зазвучал громче: Анриетта, разливавшая чай, повернулась в их сторону. Увидев ее улыбку и заметив, что две другие дамы настороженно прислушиваются, Муре первый же и пошутил над своим красноречием:

– Словом, дружище, в наши дни всякий начинающий аршинник – будущий миллионер.

Валаньоск безвольно откинулся на кушетке. Он устало прикрыл глаза, всем своим видом выказывая презрение. К действительной его вялости теперь примешивалась и доля притворства.

– Ну, жизнь не стоит такого труда, – проговорил он. – Ничего хорошего в ней нет.

Возмущенный Муре с удивлением посмотрел на него; Валаньоск прибавил:

– Сколько ни старайся, все равно ничего не добьешься. Лучше уж просто сидеть сложа руки.

И он заговорил о своем пессимизме, о буднях и невзгодах существования. Одно время он мечтал стать литератором, но знакомство с поэтами разочаровало его. Он пришел к выводу, что все человеческие усилия обречены на неудачу, что жизнь пуста и бессмысленна, а люди в конечном счете безнадежно глупы. Радостей нет, даже дурные поступки не доставляют удовольствия.

– Скажи-ка, а тебе разве весело живется? – в заключение спросил он.

Муре остолбенел от негодования.

– Как это – «весело ли»? – воскликнул он. – Что это ты говоришь? Так вот до чего ты дошел, старина! Конечно, мне весело, даже когда все кругом трещит, потому что тогда я прихожу в неистовство. Я остро чувствую, я не могу спокойно относиться к жизни; быть может, поэтому мне и интересно. – Бросив взгляд в сторону гостиной, он понизил голос. – Сознаюсь, – сказал он, – есть женщины, которые надоели мне до смерти. Но уж если мне взбредет на ум добраться до какой-нибудь, я, черт возьми, держу ее крепко! И, уверяю тебя, не промахнусь и ни с кем делиться не стану... Впрочем, дело не в женщинах; мне на них в конце концов наплевать. Главное, видишь ли, это желать, действовать – словом, созидать... У тебя возникает идея, ты борешься за нее, вколачиваешь ее людям в голову и видишь, как она разрастается и торжествует... Да, старина, вот это меня забавляет!

В его словах звучала жизнерадостность, неутолимая жажда деятельности. Он снова назвал себя сыном своего времени. Поистине надо быть калекой, гнилушкой, надо иметь дырявую голову, чтобы отказываться от работы в наше время, когда предоставляется поле для широчайшей деятельности, когда весь мир устремлен к будущему. И он поднял на смех всех отчаявшихся, пресытившихся, всех нытиков, всех, заболевших от достижений науки, всех, кто на грандиозной современной стройке принимает хнычущий вид поэта или жеманную позу скептика. Какое восхитительное, уместное и разумное занятие – зевать от скуки, когда другие заняты творческим трудом!

– Зевать, глядя на других, – мое единственное удовольствие, – заметил Валаньоск, холодно улыбаясь.

Возбуждение Муре вдруг остыло. Он снова заговорил ласково:

– Ах, старина Поль, ты все тот же, по-прежнему полон парадоксов... Но не для того ведь мы встретились, чтобы ссориться. К счастью, у каждого свой взгляд на вещи. А все-таки нужно будет показать тебе мою машину в действии: ты убедишься, что это вовсе не так глупо...

Однако расскажи-ка о себе. Твоя мать и сестры, надеюсь, здоровы? В прошлом году мне говорили, что ты собираешься жениться, что невеста в Плассане.

Уловив порывистое движение Валаньоска, Муре осекся. Валаньоск беспокоило посмотреть в сторону гостиной, и Муре, бросив туда взгляд, заметил, что мадмуазель де Бов не спускает с них глаз. Высокая и крупная, Бланш была похожа на мать, но черты лица ее были грубее и уже заплыли нездоровым жирком. На осторожный вопрос приятеля Поль ответил, что пока еще ничего не решено и, быть может, ничего и не выйдет. Он познакомился с мадмуазель Бланш у г-жи Дефорж, где в прошлую зиму был частым гостем, а теперь появляется крайне редко; поэтому-то он до сих пор и не встречался с Октавом. Валаньоск принят и у де Бовов, где ему особенно по душе глава семейства, старый прожигатель жизни, чиновник, собирающийся выйти в отставку. Впрочем, никаких средств у них нет: г-жа де Бов принесла мужу в приданое только свою красоту Юноны, и семья живет на доход от последней, теперь уже заложенной фермы; жалкий доход этот, к счастью, дополняется девятью тысячами франков, которые граф получает как главный инспектор конских заводов. Он выдает жене очень мало денег, ибо все еще предается сердечным увлечениям на стороне, и графиня с дочерью принуждены иногда сами переделывать свои платья.

– Зачем же тогда жениться? – просто спросил Муре.

– Ах, бог мой, все равно этим должно кончиться, – произнес Валаньоск, утомленно прикрыв глаза. – Кроме того, есть кое-какая надежда, – скоро должна умереть ее тетка.

Между тем Муре не спускал глаз с г-на де Бова, который сидел рядом с г-жой Гибаль; граф проявлял к ней чрезвычайную предупредительность и то и дело вкрадчиво смеялся. Обернувшись к приятелю, Муре так многозначительно подмигнул, что Валаньоск ответил:

– Нет, не эта... По крайней мере пока еще нет... Беда в том, что по роду службы ему приходится разъезжать во все концы Франции, по всем племенным заводам, и, следовательно, у него всегда есть предлог для исчезновения. В прошлом месяце, в то время как его жена думала, что он в Перпиньяне, он пребывал здесь в гостинице на отдаленной улице в обществе некоей учительницы музыки.

Наступило молчание; затем Валаньоск, тоже наблюдавший, как граф увивается за г-жой Гибаль, тихо прибавил:

– Пожалуй, ты прав... тем более что эта милая дама, говорят, отнюдь не отличается строгостью поведения. Я слышал препотешную историю о ней и об одном офицере... Но посмотри, до чего он занятен, как он магнетизирует ее взглядом. Вот она, старая Франция, мой милый! Я обожаю этого человека, и, если женюсь на его дочери, он смело может утверждать, что я это сделал исключительно ради него.

Муре от души расхохотался: все это его очень забавляло. И он продолжал расспрашивать Валаньоска; узнав, что идея поженить его друга и Бланш исходит от г-жи Дефорж, он еще больше развеселился. Милой Анриетте, как и всякой вдовушке, доставляло удовольствие устраивать браки. Сосватав чью-нибудь дочку, она зачастую предоставляла возможность и отцу девушки выбрать себе в ее салоне подругу жизни; и все это делалось так естественно, так мило, что свет никак не мог бы найти тут ничего предосудительного. Муре, любивший ее любовью делового человека, всегда занятого и привыкшего рассчитывать свои ласки, забывал с нею все свои уловки и питал к ней настоящую дружескую симпатию.

В эту минуту она показалась на пороге маленькой гостиной в сопровождении старика лет шестидесяти, появления которого приятели не заметили. Голоса дам временами повышались до крика, им вторило легкое позвякивание ложек в китайских чашках; порою, среди наступавшей на миг тишины, раздавался звон блюдечка, неловко поставленного на мраморный столик. Внезапно луч заходящего солнца, вырвавшись из-за большой тучи, позолотил в саду верхушки каштанов и, проникнув в окна золотисто-красным снопом, зажег пожаром гобелены и бронзовые украшения мебели.

– Сюда, дорогой барон, – говорила г-жа Дефорж. – Позвольте представить вам господина Октава Муре, ему хочется засвидетельствовать вам свое глубокое восхищение.

Обернувшись к Октаву, она прибавила:

– Барон Хартман.

На губах старика играла тонкая улыбка. Это был невысокий, крепкий мужчина с крупной, как у многих эльзасцев, головой; его полное лицо светилось умом, который отражался даже в мельчайших складках у рта, в легчайшем трепетании век. Целых две недели противился он желанию Анриетты, упорно просившей его об этом свидании, – не потому, чтобы испытывал особенно жгучую ревность, ибо, как умный человек, давно примирился с ролью отца, но потому, что это был уже третий друг, с которым знакомила его Анриетта, и он боялся в конце концов показаться немного смешным. Вот почему он подошел к Октаву со сдержанной улыбкой, как богатый покровитель, который готов быть любезным, но отнюдь не согласен оказаться в дураках.

– Сударь, – воскликнул Муре с чисто провансальским воодушевлением, – последняя операция «Ипотечного кредита» была изумительна! Вы не поверите, как я счастлив и как горд, что могу пожать вам руку.

– Вы очень любезны, сударь, очень любезны! – повторял барон, по-прежнему улыбаясь.

Анриетта глядела на них ясными глазами, без тени смущения. На ней было кружевное платье с короткими рукавами и большим вырезом, обнажавшим изящную шею. Она стояла между ними, откинув назад прелестную головку и переводя взгляд с одного на другого. Она была в восторге, видя их в таком добром согласии.

– Я оставляю вас, господа, побеседуйте, – произнесла она в заключение. И, обращаясь к поднимавшемуся с дивана Полю, прибавила: – Не хотите ли чаю, господин Валаньоск?

– С удовольствием, сударыня.

И они вернулись в гостиную.

Муре сел на кушетку возле барона Хартмана и вновь рассыпался в похвалах операциям «Ипотечного кредита». Затем он перешел к особенно интересовавшему его вопросу: он заговорил о новой улице, которая должна служить продолжением улицы Реомюра и образовать между Биржевой площадью и площадью Оперы новый уголок города под названием улицы 10-го Декабря. Общественная необходимость в ней была официально признана уже полтора года тому назад, недавно был назначен комитет отчуждения; весь квартал, взбудораженный толками о грандиозных сломках, терялся в догадках о времени начала работ и пытался разузнать, какие дома обречены на снос. Уже около трех лет ждал Муре этих изменений, во-первых, потому, что предвидел оживление торговли, а во-вторых, потому, что мечтал о расширении магазина – и о расширении таком грандиозном, что даже не осмеливался признаваться в своих мечтах. Улица 10-го Декабря должна была пересечь улицы Шуазель и Ла Мишодьер, и он уже видел, как «Дамское счастье» захватывает весь квартал между этими улицами и улицей Нев-Сент-Огюстен, и уже представлял себе, как на новой улице будет выситься фасад его дворца, владения покоренного города. Когда Муре узнал, что «Ипотечный кредит» заключил с правительством договор и принял на себя обязательство по сломке мешающих зданий и застройке улицы 10-го Декабря при условии, что банку будет предоставлена собственность на прилегающие участки земли, – у него возникло горячее желание познакомиться с бароном Хартманом.

– Значит, это верно, – повторял он, прикидываясь простаком, – что вы сдадите правительству уже совершенно готовую улицу со сточными канавами, тротуарами и газовыми фонарями? Следовательно, прилегающие владения явятся достаточной компенсацией ваших расходов? Любопытно, крайне любопытно!

Наконец, Муре подошел к деликатному пункту. Он знал, что «Ипотечный кредит» тайно приобретает дома в том квартале, где находится «Дамское счастье», и не только те, что должны пасть под киркою разрушителей, но и те, которые должны уцелеть. Муре чуял, что Гартман

что-то замышляет, беспокоился за судьбу расширений, о которых мечтал, и опасался, как бы не пришлось ему в один прекрасный день столкнуться с могущественным банком, владельцем домов, которые тот, разумеется, уже не выпустит из своих рук. Именно эти опасения и внушили Муре желание поскорее завязать с бароном знакомство, причем связующим звеном должна была быть женщина – это всегда сближает мужчин, любящих поволочиться. Муре мог бы, конечно, повидаться с финансистом в его кабинете и спокойно поговорить там о крупном начинании, участие в котором он намеревался ему предложить. Но он чувствовал себя гораздо смелее у Анриетты: он знал, как трогает и располагает друг к другу обладание одной и той же женщиной. Быть у нее, вдыхать запах любимых ею духов, находиться рядом с нею, видеть улыбку, обращенную к ним обоим, казалось ему залогом успеха.

– Это вы купили старинный особняк Дювилара, смежный с моим владением? – внезапно спросил он.

Барон Хартман на мгновение смешался, затем стал отрицать. Но Муре, глядя ему прямо в лицо, рассмеялся и с этой минуты принял на себя новую роль – роль славного малого, открытого, ведущего дела начистоту.

– Знаете, барон, раз уж мне выпала нежданная честь встретиться с вами, я намерен открыть вам свою душу... О, я не собираюсь выведывать ваши тайны... Я только признаюсь вам в своих, так как убежден, что отдаю их в самые верные руки. К тому же я чрезвычайно нуждаюсь в ваших советах, но все не осмеливался обратиться к вам.

И он действительно исповедался, рассказал о своих планах, не скрыл даже финансового кризиса, который переживал сейчас среди своих побед. Он рассказал обо всем: о последовательных расширениях, о постоянном обращении прибылей в дело, о суммах, внесенных его служащими, о том, что торговый дом рискует своим существованием при каждом базаре, так как весь капитал сразу ставится на карту. И, однако, он просил вовсе не денег, так как фанатически верил в своих покупателей. Его честолюбие шло дальше: он предлагал барону вступить в компанию, причем «Ипотечный кредит» в качестве пая должен был внести колоссальный дворец, который Муре уже видел в мечтах; он же, со своей стороны, отдал бы этому делу свой ум и уже созданные им торговые фонды. Доходы можно было бы делить пропорционально вкладам. Осуществление этой затеи казалось ему как нельзя более легким.

– Что вы станете делать со своими участками и домами? – настойчиво спрашивал он. – Вы, несомненно, что-то задумали. Но я совершенно убежден, что ваш замысел не сравнится с моим... Подумайте об этом. Мы выстроим на пустырях торговые ряды, мы снесем или перестроим дома и откроем самые большие в Париже магазины, настоящую ярмарку, которая принесет нам миллионы. – Ах, если бы я мог обойтись без вас!.. – вырвалось у него откровенное признание. – Но теперь всё в ваших руках. Да, кроме того, у меня никогда не будет нужных оборотных средств... Нам непременно следует столкнуться, иначе это было бы преступлением.

– Как вы увлекаетесь, сударь, – сдержанно заметил барон. – Какое у вас воображение!

Продолжая улыбаться, он покачал головой, но про себя уже решил не платить откровенностью за откровенность. План «Ипотечного кредита» заключался в том, чтобы построить на улице 10-го Декабря конкурента «Гранд-Отелю» – роскошную гостиницу, которая будет привлекать иностранцев своей близостью к центру. Впрочем, гостиница должна была занять далеко не все освобождающееся пространство, так что барон мог бы согласиться и на предложение Муре и вступить в переговоры относительно остальной, еще очень обширной площади. Но ему уже пришлось финансировать двух друзей Анриетты, и он несколько утомился ролью богатого покровителя. Кроме того, несмотря на всю любовь барона к деятельности и готовность открыть кошелек для всех умных и предприимчивых молодых людей, коммерческий размах Муре не столько пленил, сколько озадачил его. Не явится ли этот гигантский магазин фантастической, неблагоразумной затеей? Не рискует ли Муре разориться, давая волю воображению

и переступая все пределы торговли новинками? Словом, барон просто не верил в это дело. И он отказался.

– Конечно, идея сама по себе очень увлекательная, – сказал он. – Только это идея поэта... Где вы найдете покупателей, чтобы наполнить такой собор?

Муре мгновение глядел на него молча, словно остолебев от его отказа. Возможно ли! Человек с таким нюхом, делец, сразу чующий деньги, как бы глубоко они ни были зарыты! И, красноречивым жестом показав на дам в гостиной, Муре воскликнул:

– Покупатели? Да вот они!

Солнце меркло; золотисто-красный сноп света превратился в бледный луч, последний привет которого догорал на шелке обоев и на обивке мебели. Сгущающиеся сумерки наполняли просторную комнату теплой, нежащей интимностью. В то время как граф де Бов и Поль де Валаньоск разговаривали у окна, глядя в сад, дамы образовали в середине комнаты тесный кружок, и оттуда доносились взрывы смеха, шушуканье, оживленные вопросы и ответы, в которых сказывалась вся страсть женщины к тратам и тряпкам. Они болтали о туалетах; г-жа де Бов описывала виденное ею бальное платье:

– На лиловато-розовом шелковом чехле – воланы из старинных алансонских кружев шириною в тридцать сантиметров...

– Ох, если б я могла себе это позволить! – перебила ее г-жа Марти. – Бывают же счастливые женщины!

Барон Хартман, как и Муре, разглядывал дам в настежь открытую дверь. Он прислушивался одним ухом к их разговорам, в то время как молодой человек, загоревшись желанием убедить его, все больше раскрывал перед ним свою душу, объясняя новую систему торговли новинками. Эта торговля зиждется теперь на беспрестанном и быстром обращении капитала, что достигается путем возможно большего оборота товаров. Так, за нынешний год его капитал, составлявший всего-навсего пятьсот тысяч франков, обернулся четыре раза и принес такой доход, как если бы равнялся двум миллионам. А удешевить доход ничего не стоит, так как, по словам Муре, обращение капитала в некоторых отделах со временем можно будет, несомненно, довести до пятнадцати и даже двадцати раз за год.

– Вот и вся механика, барон, понимаете? Дело нехитрое, но надо было это придумать. Мы не нуждаемся в большом оборотном капитале. Единственная наша забота – возможно быстрее сбывать товары, чтобы заменять их другими, а это соответственно увеличивает проценты с капитала. Следовательно, мы можем удовлетворяться самой маленькой прибылью; поскольку наши общие расходы достигают громадной цифры в шестнадцать процентов, а мы никогда не накидываем на товары больше двадцати процентов, наша прибыль в итоге равна четырем процентам; но когда можно будет оперировать большим количеством хороших и постоянно пополняемых товаров, это в конечном счете принесет нам миллионные доходы... Вы следите за моей мыслью, не так ли?.. Дело ясное!

Барон снова покачал головой. Хотя сам он пускался в весьма рискованные предприятия, хотя смелость, проявленную им во время первых опытов внедрения газового освещения, до сих пор еще приводили в пример, он все же не поддавался доводам Муре.

– Отлично понимаю, – возразил барон. – Вы продаете дешево, чтобы продать много, и продаете много, чтобы продать дешево... Вся суть в том, чтобы продавать, но я опять-таки вас спрашиваю: кому вы будете продавать? Каким образом рассчитываете вы поддерживать такую колоссальную торговлю?

Неожиданный шум голосов, донесшийся из гостиной, перебил объяснения Муре. Оказывается, г-жа Гибаль считает, что воланы из старинных алансонских кружев нужно делать только на передничках.

– Но, дорогая моя, – возражала г-жа де Бов, – передничек также весь в кружевах. Получилось на редкость богато.

– Ах, вы подали мне мысль, – перебила г-жа Дефорж, – у меня есть несколько метров алансона... Надо будет еще прикупить для отделки.

Голоса притихли, теперь слышно было только шушуканье. Произносились какие-то цифры; спор подхлестывал желание, дамы уже накопали целые охапки кружев.

– Право же, – сказал, наконец, Муре, получив возможность договорить, – можно продавать все, что угодно, когда умеешь продавать. В этом суть нашей победы.

И он образно, пылко, с присущим провансальцам воодушевлением принялся рассказывать, что представляет собою новая система торговли. Это прежде всего колоссальное, ошеломляющее покупателя изобилие товаров, сосредоточенных в одном месте; благодаря обилию выбора эти товары как бы поддерживают и подпирают друг друга. Заминок не бывает никогда, потому что к любому сезону выпускается соответствующий ассортимент; покупательница, увлеченная то тем, то другим, переходит от прилавка к прилавку, – здесь покупает материю, там нитки, еще дальше мантию, словом – одевается с головы до ног, а потом наталкивается на неожиданные находки и уступает потребности приобретения ненужных вещей и красивых безделушек. Затем Муре стал восхвалять преимущества твердо установленных цен. Великий переворот в торговле новинками начался именно с этой находки. Старинная коммерция, мелкая торговля чахнет именно потому, что не может выдержать конкуренции тех товаров, дешевизна которых гарантируется фирменной маркой. Ныне о конкуренции может судить самая широкая публика: достаточно обойти витрины, чтобы узнать все цены. Каждый магазин вынужден снижать цены, удовлетворяясь минимальной прибылью; теперь уже нет места плутовству, теперь уже нельзя разбогатеть, ухитрившись продать какую-нибудь ткань вдвое дороже ее действительной стоимости. Наступило обратное: размеренная цепь операций с определенным процентом надбавок на все товары; залог успеха – в правильной организации торговли, причем последняя преуспевает именно потому, что ведется совершенно открыто. Ну разве не удивительное нововведение? Оно взбудоражило весь рынок, преобразило Париж: ведь оно создано из плоти и крови женщин.

– Женщина у меня в руках, а до прочего мне нет дела! – воскликнул Муре с грубоватой откровенностью, исторгнутой воодушевлением.

Этот возглас, казалось, поколебал барона Хартмана. В его улыбке уже не было прежней иронии, он всматривался в молодого человека, заражаясь мало-помалу его верой, начиная чувствовать к нему симпатию.

– Шш! – прошептал он отечески. – Они могут услышать!

Но дамы говорили теперь все сразу и были так увлечены, что не слушали даже друг друга. Г-жа де Бов все еще описывала виденный ею вечерний туалет: туника из лиловато-розового шелка, а на ней – воланы из алансонских кружев, скрепленные бантами; корсаж с очень низким вырезом, а на плечах опять-таки кружевные банты.

– Вы увидите, – говорила она, – я заказала себе такой корсаж из атласа...

– А мне, – прервала г-жа Бурделе, – захотелось бархата. Его можно купить по случаю.

Госпожа Марти спрашивала:

– А шелк почему? Почему теперь шелк?

Тут все снова заговорили разом. Г-жа Гибаль, Анриетта, Бланш отмеривали, отрезали, кроили полным ходом. Это был какой-то погром материй, настоящее разграбление магазинов; жажда нарядов превращалась в зависть, в мечту; находиться среди тряпок, зарываться в них с головою было для этих дам так же насущно необходимо, как воздух необходим для существования.

Муре бросил взгляд в гостиную и в завершение своих теорий об организации крупной современной торговли шепнул барону Хартману несколько фраз на ухо, словно признаваясь ему в любви, как иногда случается между мужчинами. После всех фактов, которые он уже привел, появилась, венчая их, теория эксплуатации женщины. Все устремлялось к этой цели:

беспрестанный оборот капитала, система сосредоточения товаров, дешевизна, привлекающая женщину, цены без запроса, внушающие покупателям доверие. Именно из-за женщины состояются магазины, именно женщину стараются они поймать в расставленную для нее западню базаров, предварительно вскружив ей голову выставками. Магазины пробуждают в ней жажду новых наслаждений, они представляют собой великие соблазны, которым она неизбежно поддается, приобретая сначала как хорошая хозяйка, затем уступая кокетству и, наконец, вовсе очертя голову, поддавшись искушению. Значительно расширяя продажу, делая роскошь общедоступной, эти магазины превращаются в ужасный стимул расходов, опустошают хозяйства, работают заодно с неистовством моды, все более и более разорительной. И если для них женщина – королева, которую окружают вниманием и раболепством, слабостям которой потакают, то она царит здесь, как та влюбленная королева, которою торговали ее подданные и которая расплачивалась каплей крови за каждую из своих прихотей. У Муре, при всей его лощеной любезности, прорывалась иногда грубость торгаша-еврея, продающего женщину за золото: он воздвигал ей храм, обслуживал ее целым легионом продавцов, создавал новый культ; он думал только о ней и без усталости искал и изобретал все новые обольщения; но затем, опустошив ее карманы, измотав ее нервы, он за ее спиной проникался к ней затаенным мужским презрением – как мужчина, которому женщина имела глупость отдаться.

– Обеспечьте себя женщинами, и вы продадите весь мир! – шепнул он барону с задорным смешком.

Теперь барону все стало ясно. Достаточно было нескольких фраз, остальное он угадал. Эта изящная эксплуатация женщины возбуждала его, она оживила в нем бывшего прожигателя жизни. Он подмигивал с понимающим видом, приходя в восторг от изобретателя новой системы пожирания женщин. Ловко придумано! И все же, как и Бурдонкль, он сказал – сказал то, что подсказывала ему стариковская опытность:

– А знаете, они ведь свое наверстают.

Но Муре презрительно пожал плечами. Все они принадлежат ему, все они его собственность; он же не принадлежит ни одной. Добившись от них богатства и наслаждений, он вышвыривает их на помойку – и пусть подбирают их те, кому они еще могут понадобиться. Это было вполне осознанное презрение, свойственное южанину и дельцу.

– Итак, сударь, – спросил он в заключение, – хотите быть заодно со мной? Считаете ли вы возможным сделку с земельными участками?

Барон был почти побежден, однако колебался взять на себя подобное обязательство. При всем восхищении, которое понемногу овладевало им, он в глубине души не переставал сомневаться. Он уже собирался дать уклончивый ответ, как вдруг дамы стали настойчиво звать к себе Муре, и это выручило барона из затруднения. Сквозь легкий смешок послышались голоса:

– Господин Муре, господин Муре!

А так как Муре, досадуя, что его прерывают, делал вид, будто не слышит, г-жа де Бов поднялась и подошла к двери:

– К вам вызывают, господин Муре... Не очень-то любезно с вашей стороны уединяться по углам для деловых разговоров.

Тогда он покорился, притом с такой готовностью и восхищением, что это изумило барона. Они встали и прошли в большую гостиную.

– Сударыни, я всегда к вашим услугам, – сказал Муре улыбаясь.

Он был встречен радостными восклицаниями. Ему пришлось подойти к дамам – они давали ему место в своем кружке. Солнце зашло за деревья сада, день угасал, прозрачные тени мало-помалу наполняли обширную комнату. Это был тот разнеживающий час сумерек, те минуты тихой неги, которые наступают в парижской квартире, когда уличный свет умирает, а слуги еще только начинают зажигать лампы. Господа де Бов и Валаньоск все еще стояли у окна, и их силуэты ложились на ковер расплывчатыми тенями; г-н Марти, скромно вошед-

ший несколько минут тому назад, неподвижно застыл в последних бликах света, проникавшего через другое окно. Всем бросился в глаза его жалкий профиль, узкий, но опрятный сюртук, его лицо, побледневшее от непрерывных занятий с учениками и вконец расстроенное разговором дам о туалетах.

– Что же, состоится в понедельник базар? – спросила г-жа Марти.

– Конечно, сударыня, – отвечал Муре голосом нежным, как флейта, тем актерским голосом, к которому он прибегал, разговаривая с женщинами.

– Знаете, мы все придем, – вмешалась Анриетта. – Говорят, вы готовите чудеса.

– Чудеса? Как сказать... – прошептал Муре со скромным и в то же время самодовольным видом. – Моя единственная цель – заслужить ваше одобрение.

Но они забросали его вопросами. Г-жа Бурделе, г-жа Гибаль, даже Бланш желали знать, что там будет.

– Расскажите же нам поподробнее, – настойчиво повторяла г-жа де Бов. – Мы умираем от любопытства.

Они окружили его, но Анриетта заметила, что он еще не выпил ни одной чашки чая. Тут дамы страшно всполошились, и четверо из них тотчас изъявили готовность за ним ухаживать, при условии, однако, что, выпив чаю, он ответит на все их вопросы. Анриетта наливала, г-жа Марти держала чашку, а г-жа де Бов и г-жа Бурделе оспаривали друг у друга честь положить в нее сахар. Муре не пожелал сесть и принялся медленно пить чай стоя, поэтому дамы приблизились к нему и заключили его в плен тесным кругом своих юбок. Приподняв головы, они смотрели на него блестящими глазами и улыбались ему.

– Что представляет собой ваш шелк «Счастье Парижа», о котором так кричат все газеты? – нетерпеливо спросила г-жа Марти.

– Это замечательный фай, – отвечал он, – плотный, мягкий и очень прочный... Сами увидите, сударыня. И нигде, кроме нас, вы его не найдете, потому что он приобретен нами в исключительную собственность.

– Возможно ли? Хороший шелк по пять франков шестьдесят! – с вожделением воскликнула г-жа Бурделе. – Просто не верится...

С тех пор как стали рекламировать этот шелк, он занял большое место в их жизни. Они говорили о нем, мечтали о нем, мучились желанием и сомнениями. И в том болтливом любопытстве, которым они досаждали молодому человеку, своеобразно проявлялись темпераменты покупательниц: г-жа Марти, увлекаемая неистовой потребностью тратить, покупала в «Дамском счастье» без разбора все, что появлялось на витринах; г-жа Гибаль прогуливалась там часами, никогда ничего не покупая, счастливая и довольная тем, что услаждает свой взор; г-жа де Бов, стесненная в средствах, постоянно томилась непомерными желаниями и дулась на товары, которых не могла унести с собой; г-жа Бурделе, с чутьем умной и практичной мещанки, направлялась прямо на распродажи и в качестве хорошей хозяйки и женщины, не способной поддаваться азарту, пользовалась большими магазинами с такой ловкостью и благоразумием, что и впрямь достигала основательной экономии; наконец, Анриетта, женщина чрезвычайно элегантная, покупала там только некоторые вещи, как-то: перчатки, чулки, трикотаж и простое белье.

– У нас будут и другие ткани, замечательные как по дешевизне, так и по качеству, – продолжал Муре певучим голосом. – Рекомендую вам, например, нашу «Золотистую кожу», это тафта несравненного блеска... У нас большой выбор шелков разнообразнейших расцветок и рисунков, они отобраны нашим закупщиком среди множества образцов. Что касается бархата, вы найдете богатейший подбор различных оттенков... Предупреждаю вас, что этой зимой будет модно сукно. Вы найдете у нас превосходные двусторонние ткани, отличные шевиоты...

Дамы слушали его, затаив дыхание, и еще теснее сомкнули круг; их уста приоткрывались в неопределенной улыбке, а лица, как и все существо, тянулись к искустителю. Глаза у

них туманились, легкие мурашки пробежали по спине. А он, несмотря на волнующие ароматы, исходившие от их волос, был по-прежнему невозмутим, как завоеватель. После каждой фразы он отпивал глоток; аромат чая смягчал эти более резкие запахи, в которых было что-то чувственное. Барон Хартман, не переставая наблюдать за Муре, все больше восхищался этим оболстителем, который так владеет собой и так силен, что может играть женщиной, не поддаваясь исходящему от нее опьянению.

– Итак, в моде будут сукна? – переспросила г-жа Марти, обезображенное лицо которой похорошело от воодушевления и кокетства. – Надо будет посмотреть.

Госпожа Бурделе вскинула на Муре свой ясный взгляд и спросила:

– Скажите, распродажа остатков у вас по четвергам? Я подожду до четверга, мне ведь надо одеть целую ораву.

И, повернув изящную белокурую головку к хозяйке дома, она спросила:

– Ты шьешь по-прежнему у Совер?

– Да, – отвечала Анриетта. – Совер берет очень дорого, но что поделаешь: только она во всем Париже и умеет сшить корсаж... Кроме того, что бы ни говорил господин Муре, а у нее материи самых красивых рисунков, таких нигде больше не найдешь. Я не желаю видеть свое платье на плечах каждой встречной.

Муре сначала скромно улыбнулся. Затем он дал понять, что г-жа Совер покупает материи у него; спору нет, некоторые она получает непосредственно от фабрикантов и в таких случаях обеспечивает себе право собственности; но что касается, например, черных шелков, она обычно подстерегает хороший товар в «Дамском счастье» и делает значительные закупки, а затем сбывает материю по удвоенной или утроенной цене.

– Поэтому я не сомневаюсь, что ее доверенные скупят у нас все «Счастье Парижа». И в самом деле, зачем ей платить за этот шелк на фабрике дороже, чем она заплатит у нас!.. Ведь мы, честное слово, продаем его в убыток.

Это был последний удар. Мысль приобрести товар, продающийся в убыток, подхлестнула в дамах всю жадность покупательницы, которая получает особое удовольствие от сознания, что ей удалось обставить торговца. Муре знал, что женщины не в силах устоять перед дешевизной.

– Да мы вообще все продаем за бесценок! – весело воскликнул он, взяв со столика веер г-жи Дефорж. – Вот хотя бы этот веер... Сколько вы, говорите, за него заплатили?

– За кружева двадцать пять франков и за оправу двести, – ответила Анриетта.

– Ну что ж, за такие кружева это недорого. Однако мы продаем их по восемнадцать франков. Что же касается оправы, то это чудовищный грабеж. Я никогда не посмею продать такой веер дороже девятидесяти франков.

– Что я говорила! – воскликнула г-жа Бурделе.

– Девяносто франков, – прошептала г-жа де Бов. – Надо в самом деле сидеть без гроша, чтобы пропустить такой случай.

Она взяла веер и снова принялась разглядывать его вместе с Бланш; на ее крупном правильном лице, в больших томных глазах появилось выражение сдержанной зависти и отчаяния оттого, что она не может удовлетворить свой каприз. Веер вторично обошел всех дам среди замечаний и возгласов. Между тем господа де Бов и Валаньоск отошли от окна. Первый снова сел позади г-жи Гибаль, обшаривая взглядом ее корсаж и в то же время сохраняя величественный и корректный вид, а молодой человек склонился к Бланш, намереваясь сказать ей что-нибудь приятное.

– Черные кружева в белой оправе – это несколько мрачно. Как вы находите, мадмуазель?

– Я видела однажды перламутровый веер с белыми перьями, – в нем было что-то девически юное... – отвечала она серьезно, и одутловатое лицо ее ничуть не оживилось.

Господин де Бов заметил, вероятно, лихорадочный взгляд, каким жена смотрела на веер, и решил вставить, наконец, свое слово:

– Эти вещицы сейчас же ломаются.

– И не говорите, – согласилась г-жа Гибаль с своей обычной гримасой: эта рыжая красавица всегда играла в равнодушие. – Мне так надоело отдавать их в починку.

Госпожа Марти, крайне возбужденная этим разговором, уже несколько минут лихорадочно вертела на коленях красную кожаную сумку. Ей так и не удалось еще показать свои покупки, а она горела своеобразной чувственной потребностью похвастаться ими. Вдруг, забыв о муже, она открыла сумку и вынула несколько метров узких кружев, намотанных на картон.

– Взгляните на валансьен, который я купила для дочери, – сказала она. – Ширина три сантиметра. Они восхитительны, не правда ли?.. Франк девяносто.

Кружева пошли по рукам. Дамы восторгались. Муре уверял, что продает эти кружева по фабричной цене. Тем временем г-жа Марти закрыла сумку, словно скрывая от взоров вещи, которые нельзя показать. Однако, польщенная успехом кружев, она не устояла и вытащила еще носовой платок.

– А вот еще платок... С брюссельской аппликацией, дорогая... О, это находка! Двадцать франков!

И тут сумка, казалось, превратилась в рог изобилия. Г-жа Марти доставала предмет за предметом, раздумываясь от наслаждения и смущаясь, как раздевающаяся женщина, и это придавало ей особую прелесть. Здесь был галстук из испанских блондов за тридцать франков; она и не хотела его брать, да приказчик поклялся, что это последний и что цена на них будет повышена. Затем вуалетка из шантлии, – немного дорого, пятьдесят франков, но если она сама и не станет ее носить, из нее можно будет сделать что-нибудь для дочери.

– Боже мой! Кружева – это такая прелесть, – твердила она с нервным смешком. – Стоит мне попасть туда, и я, кажется, готова скупить весь магазин.

– А это что? – спросила г-жа де Бов, рассматривая отрез гипюра.

– Это прошивка, – отвечала она. – Здесь двадцать шесть метров. И, понимаете, всего-навсего по франку за метр.

– Но что вы будете с ней делать? – удивилась г-жа Бурделе.

– Право, не знаю... Но у нее такой милый рисунок.

В этот момент она подняла глаза и увидела прямо против себя ошеломленного мужа. Он стал еще бледнее и всем своим существом выражал покорное отчаяние бедняка, который присутствует при расхищении так дорого доставшегося ему жалованья. Каждый новый кусок кружев был для него настоящим бедствием: это низвергались в бездну горькие дни его преподавания, пожиралась его беготня по частным урокам, постоянное напряжение всех сил в аду нищенской семейной обстановки. Под его растерянным взглядом жена почувствовала желание схватить и спрятать и носовой платок, и вуалетку, и галстук; нервно перебирая покупки, она повторяла с деланным смешком:

– Вы добьетесь того, что муж на меня рассердится... Уверю тебя, мой друг, что я еще была очень благоразумна: там продавалось и крупное кружево за пятьсот франков, – настоящее чудо!

– Почему же вы его не купили? – спокойно спросила г-жа Гибаль. – Ведь господин Марти – любезнейший из мужей.

Преподавателю не оставалось ничего другого, как поклониться и заметить, что его жена совершенно свободна в своих поступках. Но при мысли об опасности, которою угрожало ему крупное кружево, по спине его пробежал озноб. И когда Муре принялся утверждать, что новая система торговли способствует повышению благосостояния средней буржуазии, г-н Марти бросил на него злобный, гневный взгляд робкого человека, у которого не хватает смелости задумать врага.

А дамы не выпускали кружев из рук. Кружева опьяняли их. Куски разматывались, переходили от одной к другой, еще более сближая их, связывая тонкими нитями. Их колени нежи-

лись под чудесной тонкой тканью, в ней замирали их грешные руки. И они все тесней окружали Муре, засыпая его нескончаемыми вопросами. Сумерки стужались, и, чтобы рассмотреть вязку или показать узор, ему иной раз приходилось настолько наклонять голову, что борода его касалась их причесок. Но, несмотря на мягкое сладострастие сумерек, несмотря на теплый аромат, исходивший от женских плеч, и воодушевление, которое он напускал на себя, он все же оставался властелином над женщинами. Он сам становился женщиной; они чувствовали, как он своим тонким пониманием самых сокровенных тайников их существа проникает им в душу, постепенно овладевает ими, и, обольщенные, покорно отдавались ему; а он, вполне уверившись в своей власти, грубо царил над ними, как деспотический король тряпок.

В сумерках, разлившихся по гостиной, слышался вкрадчивый томный лепет:

– Ах, господин Муре... господин Муре...

Умирующие бледные отсветы неба гасли на бронзовой отделке мебели. Только кружева белели как снег на темных коленях дам; в сумерках трудно было разглядеть группу, окружавшую молодого человека, но по расплывчатым очертаниям можно было принять ее за коленопреклоненных молящихся. На чайнике блеснул последний блик, словно тихий и ясный огонек ночника в алькове, где воздух согрет теплом ароматного чая. Но вот вошел лакей с двумя лампами, и наваждение рассеялось. Гостиная пробудилась, светлая и веселая. Г-жа Марти принялась убирать кружева в сумку, графиня де Бов съела еще кусочек кекса, а Анриетта подошла к окну и стала вполголоса разговаривать с бароном.

– Обаятельный человек, – заметил барон.

– Не правда ли? – непроизвольно вырвалось у влюбленной женщины.

Он улыбнулся и отечески снисходительно взглянул на нее. Впервые видел он ее настолько увлеченной. Он был слишком умен, чтобы терзаться этим, и только жалел ее, видя, что она оказалась во власти этого молодого человека, такого ласкового на вид и совершенно холодного в душе. Считая своим долгом предостеречь ее, он шепнул как бы в шутку:

– Берегитесь, дорогая, он всех вас проглотит.

В прекрасных глазах Анриетты сверкнуло пламя ревности. Она, несомненно, догадывалась, что Муре просто воспользовался ею, чтобы познакомиться с бароном. И она поклялась свести его с ума ласками, его, занятого человека, торопливая любовь которого обладала прелестью легкомысленной песенки.

– Ничего! В конечном счете ягненок всегда съест волка, – отвечала она ему в тон.

Барон, еще более заинтересованный, ободряюще кивнул головой. Быть может, она и есть та женщина, которой суждено отомстить за других.

Когда Муре, повторив Валаньоску, что хочет показать ему свою машину в действии, подошел к барону проститься, старик увлек его к окну, обращенному в темные сумерки сада. Он уступил, наконец, обольщению и поверил в Муре, увидев его среди дам. Они с минуту поговорили, понизив голос. Затем банкир сказал:

– Отлично. Обдумаю... Будем считать, что дело решено, если в понедельник оборот у вас окажется столь значительным, как вы уверяете.

Они пожали друг другу руки, и Муре, крайне довольный, уехал; у него бывал плохой аппетит, если он не заходил вечером проверить выручку «Дамского счастья».

Глава IV

В понедельник, десятого октября, яркое солнце победоносно прорвалось, наконец, сквозь серые тучи, уже целую неделю омрачавшие Париж. Всю ночь моросил дождь, и мокрые улицы покрылись грязью, но утром тротуары обсохли под резким ветром, угнавшим облака, а синее небо стало по-весеннему прозрачным и веселым.

Под лучами яркого солнца заблестало с восьми часов утра и «Дамское счастье»: здесь торжественно открывался базар зимних новинок. Вход был разукрашен флагами, полотнища шерстяных материй развевались в свежем утреннем воздухе, на площади Гайон царила праздничная сутолока, словно на ярмарке, а в витринах, по обеим улицам, развертывались целые симфонии выставленных товаров, яркие тона которых горели еще сильнее благодаря блеску стекол. Это было какое-то пиршество красок, взрыв ликования всей улицы, это был широко открытый мир товаров, где каждый мог усладить свой взор.

Но в этот час в магазине еще было мало народу, — лишь несколько озабоченных покупателей: домашние хозяйки, жившие по соседству, да женщины, желавшие избежать послепопуденной давки. За украшавшими магазин флагами и материями чувствовалось, что он еще пуст, но во всеоружии ожидает начала кипучей деятельности, что полы в нем натерты, а прилавки завалены товарами. Спешащая утренняя толпа текла мимо, не замедляя шага и едва успевая бросить взгляд на витрины. На улице Нев-Сент-Огюстен и на площади Гайон, у стоянки извозчиков, в девять часов было всего две пролетки. Только местные жители, в особенности мелкие торговцы, взволнованные таким обилием флагов и султанов, собирались группами у дверей, на тротуарах и, задрав головы, обменивались горькими замечаниями. Их особенно возмущал фургон, стоявший на улице Ла Мишодьер, перед отделом доставки на дом, — один из четырех фургонов, которые Муре ввел в обиход: они были выкрашены в желтые и красные полосы по зеленому фону, и их лакированные стенки отливали на солнце золотом и пурпуром. Фургон, блестящий еще свежими, яркими красками, испещренный со всех сторон названием магазина и, кроме того, объявлениями о дне базара, наконец тронулся с места; он был нагружен свертками, оставшимися от вчерашнего дня; прекрасная лошадь побежала крупной рысью. Бодю, весь бледный, следил с порога «Старого Эльбёфа» за проезжавшим мимо фургоном, который вез по городу ненавистное, окруженное звездным сиянием название: «Дамское счастье».

Тем временем подъехало несколько извозчиков и стало в ряд. Каждый раз, как появлялась покупательница, среди служителей, ожидавших у подъезда, начиналось движение. Они были все в одинаковых ливреях — светло-зеленых брюках, таких же куртках и полосатых, красных с желтым, жилетах. Здесь же находился инспектор Жув, отставной капитан, в сюртуке и белом галстуке, при всех своих орденах, как бы свидетельствовавших о его безукоризненной честности; он приветствовал дам вежливо и степенно, наклоняясь к ним, чтобы указать нужный отдел, после чего они исчезали в вестибюле, превращенном в восточную гостиную.

Таким образом, уже с самого порога начинались чудеса и сюрпризы, от которых покупательницы приходили в восторг. Мысль эта принадлежала Муре. Он первый закупил на Востоке, на очень выгодных условиях, партию старинных и новых ковров. Такие редкостные ковры до сих пор продавались только антикварами и притом очень дорого; теперь он наводнял ими рынок, он их уступал почти что по себестоимости, но они служили ему блистательной декорацией, которая должна была привлечь новых покупательниц — знатоков искусства. Эта гостиная, созданная исключительно за счет ковров и портьер, развешанных по указаниям Муре, была видна еще с площади Гайон. Потолок ее был затянут смирнскими коврами, затейливые рисунки которых выделялись на красном фоне. По четырем стенам свешивались портьеры: желтые в зеленую и алую полоску портьеры из Карамани и Сирии; портьеры из Курдистана,

попроще, шершавые на ощупь, как пастушечьи бурки; затем ковры, которые могли бы служить для обивки стен, узкие ковры из Тегерана, Исфагани и Керманшаха, широкие шемаханские и мадрасские ковры, с разбросанными по ним причудливыми пионами в цвету и пальмами, – фантазия, взращенная в садах мечты. На полу – снова ковры; он был словно усыпан жирными завитками шерсти: в центре помещался великолепный ковер из Агры – по белому фону с широким нежно-голубым бордюром разбегались бледно-лиловые узоры, созданные изысканным воображением. Повсюду чудеса: ковры из Мекки с бархатистыми отливами, дагестанские коврики для молитвы, испещренные символическими знаками, курдистанские ковры, усеянные пышными цветами; наконец, в углу громоздилось множество дешевых ковров из Гердеса, Кулы и Киршера, сваленных в кучу и продававшихся от пятнадцати франков и дороже. Вестибюль этот напоминал палатку какого-то паши, любителя роскоши; он был уставлен креслами и диванами, обтянутыми верблюжьим мехом, скроенным в виде пестрых ромбов или усеянным наивными розами. Турция, Аравия, Персия, Индия выставили здесь напоказ сокровища своих опустошенных дворцов, ограбленных мечетей и базаров. В поблекшем рисунке старинных ковров преобладали рыжевато-золотистые цвета, а их потускневшая яркость сохраняла теплые сумеречные отсветы потухающих углей, прекрасные красноватые тона старинных живописцев. Над роскошью этого варварского искусства, среди острого запаха, занесенного старыми шерстяными тканями из родных стран, полных солнца и грязи, реяли видения Востока.

Дениза должна была приступить к исполнению своих обязанностей с этого понедельника; проходя в восемь часов утра через восточную гостиную, она в изумлении остановилась, не узнавая входа в магазин; убранство этого гарема, устроенного на самом пороге, ошеломило девушку. Служитель проводил ее на чердак и вверил попечению г-жи Кабэн, на обязанности которой лежали уборка и присмотр за комнатами, в которых жили продавщицы; та водворила Денизу в седьмой номер, куда уже был внесен ее сундучок. Это была узкая келья-мансарда с маленьким окошком, выходившим на крутую крышу. В комнате стояла небольшая кровать, шкаф орехового дерева, туалетный столик и два стула. Двадцать подобных комнаток тянулось вдоль коридора, выкрашенного в желтый цвет и напоминавшего монастырь; из тридцати пяти продавщиц магазина здесь жили двадцать, не имевших семьи в Париже; остальные пятнадцать устроились вне магазина, причем некоторые из них – у теток или двоюродных сестер, существовавших только в их воображении. Дениза немедленно сняла тонкое шерстяное платье, обветшавшее от чистки и заштопанное на рукавах, – единственное, привезенное ею из Валони, – и облачилась в форменную одежду своего отдела – черное шелковое платье; оно было подогнано по ее фигуре и лежало, в ожидании ее, на постели. Платье это было ей все же немного велико и широко в плечах. Но Дениза так торопилась и волновалась, что забыла о кокетстве и не стала задерживать внимание на таких мелочах. Никогда еще не было у нее шелкового платья. Спускаясь по лестнице, чувствуя себя разряженной и скованной, она поглядывала на блестящую юбку, и ей было стыдно ее шумного шуршания.

Когда она вошла в отдел, там всю ссорились. Дениза слышала, как Клара говорила резким голосом:

– Сударыня, я пришла раньше ее.

– Неправда, – отвечала Маргарита. – Она оттолкнула меня в дверях, когда я была уже одной ногой в вестибюле.

Они препирались из-за того, кто раньше распишется в журнале, ибо от этого зависела очередь обслуживания покупательниц. Продавщицы расписывались на грифельной доске в порядке прихода в магазин; после каждой покупательницы девушка переносила свое имя в конец списка. Г-жа Орели решила, что права Маргарита.

– Вечные несправедливости! – злобно фыркнула Клара.

Но появление Денизы примирило девиц. Они посмотрели на нее и усмехнулись. Как можно вырядиться таким чучелом! Дениза неловко подошла к доске, чтобы записаться; она

оказалась последней. Тем временем г-жа Орели с неудовольствием осматривала ее и, наконец, не выдержав, заметила:

– Дорогая моя, в вашем платье поместятся две таких, как вы. Надо его сузить... Да и вообще вы не умеете одеваться. Подите-ка сюда, я вас немного приведу в порядок.

И она подвела Денизу к одному из высоких зеркал, чередовавшихся с дверцами шкафов, набитых готовыми нарядами. Большая комната, уставленная зеркалами и обшитая панелью из резного дуба, была устлана триповым ковром в больших разводах и походила на заурядный зал гостиницы, через который проходит непрекращающийся людской поток. Приказчицы, одетые в обязательные шелковые платья, еще увеличивали это сходство; они прогуливались с профессионально-любезным видом и никогда не пользовались той дюжиной стульев, которые предназначались только для покупательниц. У всех этих девиц между двумя петельками корсажа виднелся, словно вонзенный в грудь, большой, торчащий острием вверх карандаш, а из кармана белым пятном высовывалась чековая книжка. Многие отваживались даже носить драгоценности – перстни, брошки, цепочки; но при вынужденном однообразии туалета единственным подлинным предметом их кокетства, роскошью, в которой они соперничали друг с другом, были волосы, лишенные всяких украшений, густые, дополненные в случае надобности накладками и шиньонами, тщательно причесанные и завитые напоказ.

– Подтяните пояс спереди, – говорила г-жа Орели. – Вот так. По крайней мере у вас не будет горба... А волосы-то! Можно ли так себя уродовать? Они могут служить вам прекрасным украшением, если только вы того пожелаете.

Действительно, самым красивым у Денизы были светлые волосы пепельного оттенка, доходившие до пят; ей стоило большого труда как следует причесаться, и потому она ограничивалась тем, что скручивала их в пучок и скрепляла роговым гребнем. Клара, раздосадованная дикой грацией этих волос, принялась потешаться над ее прической – уж очень криво сидит у нее пучок. Она знаком подозвала продавщицу из бельевого отдела, девушку с широким, приятным лицом. Два смежных отдела пребывали в постоянной вражде, но девицы находили общий язык, если представлялся случай над кем-нибудь посмеяться.

– Нет, вы только взгляните на эту гриву, мадмуазель Кюньо, – твердила Клара, которую Маргарита подталкивала локтем, делая вид, будто задыхается от смеха.

Но бельевица не была расположена шутить. Глядя на Денизу, она вспомнила, как ей самой приходилось тяжело в первые месяцы службы.

– Ну и что же? – сказала она. – Не у всех сыщется такая.

И она возвратилась в свой отдел, оставив сослуживиц в некотором смущении. Дениза, слышавшая все это, проводила ее благодарным взглядом, а в это время г-жа Орели вручила девушке выданную на ее имя чековую книжку и сказала:

– Ну, ничего, завтра вы оденетесь лучше... А пока постарайтесь усвоить обычаи магазина: ждите своей очереди, чтобы заняться с покупательницей. Сегодня предстоит трудный день, зато легко будет выяснить, на что вы годны.

Покупательницы, однако, еще не появлялись: в этот ранний час в отделе готового платья всегда бывало мало народу. Приказчицы, вялые и неподвижные, щадили свои силы в ожидании утомительной послеобеденной работы. Денизу смущала мысль, что им не терпится посмотреть, как она будет работать, и она принялась чинить карандаш, стараясь овладеть собою; затем, подражая остальным, она воткнула его в платье, между двух петель корсажа. Она призывала на помощь все свое мужество: ей во что бы то ни стало нужно было завоевать здесь себе место. Накануне ей сказали, что до поры до времени она будет работать за стол и помещение, без определенного жалованья, и будет получать только проценты и известную долю из прибылей от проданных ею товаров. Но она все же рассчитывала на тысячу двести франков, зная, что хорошие продавщицы при старании могут вырабатывать до двух тысяч. Ее бюджет был строго распределен: ста франков в месяц ей хватит, чтобы платить за пансион Пепе и поддерживать

Жана, который не зарабатывает ни гроша; да и себе она сможет купить кое-что из белья и одежды. Но, чтобы добиться этой крупной цифры, она должна показать себя работающей и сильной, не обращать внимания на недоброжелательное отношение окружающих и, если нужно, бороться и вырвать свою долю у товаров. Пока она всячески подготавливала себя к борьбе, через их отдел прошел высокий молодой человек; он улыбнулся ей, и Дениза узнала в нем Делоша, поступившего накануне в отдел кружев; она ответила ему улыбкой, радуясь этой вновь обретенной дружбе и видя в его приветии доброе предзнаменование.

В половине десятого колокол возвестил о завтраке для первой смены. Затем позвали завтракать вторую. А покупательниц все еще не было. Помощница заведующей, г-жа Фредерик, угрюмая, суровая вдова, всегда с удовольствием предрекавшая разные несчастья, уже клялась, что день потерян: ни души не будет, можно запира́ть шкафы и расходиться. От этого предсказания плоское лицо Маргариты, отличавшейся крайней жадностью, омрачилось, а Клара, обладавшая повадками вырвавшейся на свободу лошади, уже принялась мечтать о поездке в Верьерский лес в случае, если торговый дом лопнет. Что касается г-жи Орели, ее цезарский лик выражал бесстрашие и сосредоточенность; она прогуливалась по пустому отделу с видом полководца, несущего ответственность за победу и поражение.

К одиннадцати часам появилось несколько дам. Приближалась очередь Денизы. Вот вошла еще покупательница.

– Толстуха из провинции, – прошептала Маргарита.

Это была женщина лет сорока пяти, приезжавшая время от времени в Париж из глухого захолустья, где она в течение нескольких месяцев копила деньги. Выйдя из вагона, она тотчас же направлялась в «Дамское счастье» и тратила здесь все накопленное. Выписывала она только изредка, потому что ей хотелось самой видеть товары и наслаждаться прикосновением к ним; она запасалась решительно всем, вплоть до иголок, которые, по ее словам, стоят у них в городке бешеные деньги. Все служащие магазина знали эту женщину, знали, что зовут ее г-жа Бутарель и что живет она в Альби; а до остального никому не было дела – ни до ее общественного положения, ни до образа жизни.

– Как поживаете, сударыня? – любезно осведомилась г-жа Орели, выходя ей навстречу. – Что вам угодно? Сию минуту с вами займусь.

Обернувшись, она позвала:

– Барышни!

Дениза хотела было подойти, но Клара опередила ее. Она была продавщицей ленивой и ни во что не ставила деньги, потому что зарабатывала на стороне гораздо больше и притом без труда, но сейчас ее подзадоривала мысль отбить у новенькой хорошую покупательницу.

– Извините, моя очередь, – возмущенно сказала Дениза.

Госпожа Орели отстранила ее суровым взглядом, промолвив:

– Никаких очередей, я одна здесь распоряжаюсь... Поучитесь сначала, как обращаться с постоянными покупательницами.

Девушка отступила; на глаза ее набежали слезы; чтобы скрыть обиду, она повернулась лицом к окну, делая вид, что смотрит на улицу. Уж не намерены ли они мешать ей продавать? Неужели они сговорились отбивать у нее хороших покупательниц? Ее охватил страх за будущее, она была подавлена таким проявлением разнузданной корысти. Поддавшись горькому сознанию своего одиночества, она прижалась лбом к холодному стеклу и смотрела на «Старый Эльбёф»; она подумала, что напрасно не упросила дядю взять ее к себе; пожалуй, он и сам помышлял об этом, потому что накануне казался очень расстроенным. Теперь же она совершенно одинока в этом огромном магазине, где ее никто не любит, где она чувствует себя оскорбленной и затерянной; Пепе и Жан, прежде никогда не покидавшие ее, живут у чужих; все они раскиданы в разные стороны. На глазах у нее выступили две большие слезинки, которые она до сих пор сдерживала, и улица заплескала перед нею в тумане.

Между тем позади нее жужжали голоса.

– Оно сутулит меня, – говорила г-жа Бутарель.

– Сударыня, вы ошибаетесь, – твердила свое Клара. – Плечи сидят превосходно... Но, быть может, сударыня, вы предпочитаете ротонду?

Дениза вздрогнула. Чья-то рука легла на ее руку; г-жа Орели сурово сказала:

– Вот как! Теперь вы бездельничаете, наблюдаете за прохожими?... Так дело не пойдет.

– Но ведь мне, сударыня, не дают продавать...

– Найдется другая работа. Начните с азов... Займитесь уборкой.

Чтобы удовлетворить двух-трех покупательниц, пришлось перевернуть уже все шкафы, и на длинных дубовых прилавках, по правую и левую сторону зала, были навалены целые груды манто, жакетов, ротонд, пальто на всякий рост и из всякого материала. Не ответив ни слова, Дениза принялась разбирать их, тщательно складывать и снова размещать по шкафам. Это была черная работа, для новеньких. Она не протестовала больше, зная, что от нее требуют полного повиновения и что надо ждать, пока заведующая позволит и ей продавать. Таково, по-видимому, и было намерение г-жи Орели. Дениза все еще продолжала уборку, когда показался Муре. Его приход взволновал девушку; она покраснела и страшно испугалась, вообразив, что он собирается заговорить с нею. Но Муре ее даже не заметил, он вообще забыл о девушке, которую поддержал под влиянием мимолетного приятного впечатления.

– Госпожа Орели! – отрывисто позвал он.

Муре слегка побледнел, но взгляд его был ясен и полон решимости. Обходя отделы, он нашел их пустыми, и перед ним, упрямо верившим в счастье, внезапно предстала возможность поражения. Правда, пробило еще только одиннадцать, а он знал по опыту, что основная масса покупательниц появляется лишь после полудня. Однако некоторые симптомы его все же беспокоили: на других базарах толкотня начиналась с самого утра; кроме того, он не видел даже женщин из простонародья, местных покупательниц, заходивших к нему по-соседски. И его, как всех великих полководцев перед сражением, охватывала суеверная робость, несмотря на все мужество, присущее этому человеку действия. Дело не идет, он погиб и сам не знает почему; ему казалось, что его поражение написано даже на лицах проходящих дам.

Как раз в эту минуту г-жа Бутарель, всегда что-нибудь покупавшая, уходила, говоря:

– Нет, у вас ничего нет мне по вкусу... Я подожду, подумаю.

Муре проводил ее взглядом. Подозвав г-жу Орели, он отвел ее в сторону, и они быстро обменялись несколькими словами. Она сделала огорченный жест, видимо, подтверждая, что торговля не оживляется. Мгновение они глядели друг другу в глаза, охваченные одним из тех сомнений, которые генералы всегда скрывают от солдат. Наконец, он сказал громко, с обычным своим молодцеватым видом:

– Если сами не будете справляться, возьмите какую-нибудь девушку из мастерской... Все-таки немного легче будет.

Муре продолжал обход в полном отчаянии. С самого утра он избегал Бурдонкля, беспокойство которого раздражало его. Выходя из отдела белья, где торговля шла еще того хуже, он столкнулся с ним и поневоле вынужден был выслушать его опасения. Наконец, Муре напрямик послал его к черту, с той грубостью, с какою в минуты дурного настроения обрушивался даже на высших служащих.

– Оставьте меня в покое! Все идет отлично... Дело кончится тем, что я вышвырну всех трупов за дверь.

Муре остановился у перил главного зала. Отсюда он видел весь магазин – отделы и второго этажа и нижнего. Пустота наверху казалась ему особенно угнетающей: в отделе кружев пожилая дама перерыла все коробки, так ничего и не купив, а в это время в белье три какие-то негодяйки перебирали подряд все галстуки по восемнадцать су. Но он заметил, что внизу, в крытых галереях, освещенных с улицы дневным светом, число покупательниц начало увеличи-

ваться. Они прогуливались вдоль прилавков, шли не спеша, и шествие это то прерывалось, то возобновлялось вновь; в отделах приклада и трикотажном теснились женщины в простых вязанных кофтах; зато в полотняном и шерстяном не было почти никого. Служители в зеленых куртках с большими блестящими пуговицами, сложа руки, ожидали посетителей. Иногда проходил инспектор, церемонный, чопорный, в белом галстуке. Сердце Муре особенно сжималось от мертвой тишины зала; свет падал туда сверху, через стеклянную крышу, матовые стекла которой процеживали его в виде бледной пыли, рассеянной и словно колышущейся. Отдел шелков, казалось, спал, погруженный в трепетную тишину, напоминавшую тишину часовни; шаги приказчика, слова, произнесенные шепотом, шелест юбки проходящей мимо покупательницы были здесь единственными звуками, растворявшимися в теплом воздухе. Меж тем к магазину стали подъезжать экипажи: слышно было, как круто останавливаются лошади, как хлопают дверцы карет. Снаружи поднимался отдаленный гул голосов зевак, толкавшихся перед витринами, возгласы извозчиков, останавливавшихся на площади Гайон; это был шум приближавшейся толпы. Но при виде кассиров, развалившихся без дела за окошечками, при виде пустующих столов для упаковки товаров, с заготовленными мотками веревок и синей бумагой, Муре, хоть и возмущался своим страхом, все же чувствовал, что огромная машина как бы замерла и остывает у него под ногами.

– Послушайте, Фавье, – шепнул Гютен, – взгляните-ка на хозяина, туда, наверх... Вид у него что-то невеселый...

– Дело дрянь! – отвечал Фавье. – Подумать только, я еще ничего не продал!

В ожидании покупателей они шепотом обменивались краткими замечаниями, не глядя друг на друга. Остальные продавцы складывали штуки «Счастья Парижа» по указаниям Робино, а Бутмон, занятый длительным разговором вполголоса с худощавой молодой женщиной, казалось, принимал от нее большой заказ. Вокруг них, на хрупких изящных этажерках, лежали вперемежку штуки шелка в длинных бумажных обертках кремового цвета, что делало товар похожим на брошюры необычайного формата. Всевозможные шелка, муар, атлас, бархат, переполнявшие прилавок, казались грядами скошенных цветов, настоящей жатвой изысканных и драгоценных тканей. Это был самый элегантный отдел, истинный салон, где товары, такие легкие, казались роскошной обстановкой.

– Мне нужно на воскресенье сто франков, – продолжал Гютен. – Если я не заработаю в среднем двенадцати франков в день, я пропал... Я так рассчитывал на этот базар.

– Черт возьми! Сто франков – дело нешуточное! – отвечал Фавье. – С меня довольно и пятидесяти... Вы, стало быть, тратитесь на шикарных женщин?

– Совсе нет. Представьте себе – такая глупость: я проиграл пари... Теперь я должен угостить пять человек – двух мужчин и трех женщин... Ах, черт! Первую же, которая подвернется, непременно накрою на двадцать метров «Счастья Парижа»!

Они поболтали еще некоторое время, рассказали друг другу, что делали накануне и что собираются делать через неделю. Фавье играл на бегах, Гютен занимался греблей и содержал кафешантанных певичек. Но их одинаково подхлестывала нужда в деньгах, они думали только о деньгах, бились ради денег с понедельника по субботу, а в воскресенье проедали их. В магазине их преследовала эта вечная забота, магазин являлся для них местом непрестанной и безжалостной борьбы. А теперь еще этот дьявол Бутмон перехватил у них посланницу г-жи Совер – ту самую тощую женщину, с которой он сейчас разговаривает. Ведь речь шла об отличном заказе, по крайней мере на две-три дюжины штук, потому что у этой известной портнихи большой аппетит. Как назло, и Робино тоже ухитрился отбить у Фавье покупательницу.

– Ну, что касается Робино, я ему это припомню, – сказал Гютен, пользовавшийся малейшим поводом, чтобы настроить отдел против человека, на место которого он зарился. – Допустимо ли, чтобы заведующий и его помощник сами продавали!.. Честное слово, дорогой мой,

если я когда-нибудь сделаюсь помощником, вы увидите, как хорошо я буду обходиться с приказчиками.

Этот приятный на вид, толстенький нормандец усиленно разыгрывал из себя простачка. Фавье не мог удержаться, чтобы не покоситься на него; но, как человек флегматичный и желчный, он только молвил:

– Да, знаю... Лучшего и желать нельзя. – Увидев приближающуюся даму, он добавил еще тише: – Внимание, к вам покупательница.

Это была прыщеватая дама в желтой шляпке и красном платье. Гютен сразу почуял в ней женщину, которая ничего не купит. Он быстро нагнулся под прилавок, делая вид, будто у него развязались шнурки, и проворчал:

– Ну уж нет, пусть лучше кто-нибудь другой тратит на нее время. Стану я терять свою очередь! Благодарю покорно.

А Робино уже звал его:

– Чья очередь, господа? Господина Гютена?.. Где же господин Гютен?

А так как последний не отвечал, прыщеватую даму получил следующий по списку продавец. Действительно, дама хотела только посмотреть образцы и прицениться; она держала продавца более десяти минут, засыпая его вопросами. Но помощник заведующего заметил, как Гютен вылез из-под прилавка, и, когда появилась новая покупательница, строго вмешался, остановив бросившегося ей навстречу молодого человека:

– Ваша очередь прошла... Я вас звал, а поскольку вы прятались под прилавком...

– Но я не слышал.

– Довольно!.. Запишитесь в конец... Фавье, займитесь.

Фавье в глубине души злорадствовал, но взглядом извинился перед приятелем. Гютен отвернулся, у него даже губы побелели от злости. Он особенно досадовал потому, что хорошо знал эту даму – очаровательную блондинку, их постоянную покупательницу, которую продавцы прозвали между собою «красавицей», но ничего не знали о ней, даже имени. Она покупала много, приказывала относить покупки в свою карету и затем исчезала. Эта высокая, изящная, одетая с изысканным вкусом дама была, по-видимому, очень богата и принадлежала к лучшему обществу.

– Ну, как ваша кокотка? – спросил Гютен у Фавье, когда тот вернулся из кассы, куда проводил покупательницу.

– Какая же это кокотка? – отвечал тот. – У нее внешность безусловно порядочной женщины... Это, должно быть, жена какого-нибудь биржевого дельца, или доктора, или что-нибудь в этом роде.

– Бросьте, пожалуйста! Просто кокотка... Разве их разберешь теперь: все стараются держаться как порядочные женщины.

Фавье заглянул в свою чековую книжку.

– Что ж из того! – возразил он. – Я нагрел ее на двести девяносто три франка. Значит, около трех франков мне в карман!

Гютен закусил губу и обрушил гнев на чековую книжку: вот еще дурацкая выдумка, только обременяет карманы! Между двумя приказчиками шла глухая борьба. Фавье обычно делал вид, что ступешивается и признает превосходство Гютена, зато за его спиной подкапывался под сослуживца. И теперь Гютен злился из-за трех франков, так непринужденно отнятых у него продавцом, которого он не считал равным себе. Ну и денек! Если так будет продолжаться, он не заработает и на сельтерскую для своих гостей. И среди разгоравшейся битвы он прогуливался вдоль прилавка, как голодный волк, ожидая добычи, завидуя всем, вплоть до заведующего, который провожал худошавую молодую женщину, повторяя:

– Хорошо. Передайте, что я сделаю все возможное, чтобы добиться у господина Муре этой скидки.

С некоторого времени Муре уже не было видно на втором этаже, возле перил. Но сейчас он вдруг снова появился наверху широкой лестницы, спускавшейся в нижний этаж; оттуда он по-прежнему властвовал над всем магазином. При виде людского потока, который малопомалу наполнял магазин, на лице его вспыхнул румянец, в нем возрождалась вера в себя, придававшая ему такую величавость. Наконец-то началась та долгожданная толкотня, та слепо-луденная давка, которую под влиянием охватившего его лихорадочного возбуждения он одно время уже отчаялся было увидеть; все служащие находились на местах, последний удар колокола только что возвестил о конце третьей смены; утренняя неудача была, конечно, следствием проливного дождя, разразившегося в девять часов, и дела могли еще поправиться, потому что небо снова стало победоносно ясным и синим, каким было рано утром. Теперь стали оживать и отделы второго этажа; Муре приходилось сторониться, пропуская дам, которые небольшими группами поднимались в отделы полотен и готового платья; в то же время он слышал, как позади него, в отделе кружев и в отделе шалей, продавцы выкрикивали крупные цифры. А вид галерей в нижнем этаже окончательно успокоил его: в отделе прикладов и в белье стояла давка, даже отдел шерстяных товаров был переполнен. Вереница покупательниц становилась все гуще, и почти все они теперь были в шляпках; исключение составляли только несколько запоздавших хозяек в чепцах. В зале шелков, залитом золотистым светом, дамы снимали перчатки, шупали «Счастье Парижа» и вполголоса переговаривались. Муре больше не обманывался насчет доносившегося извне шума, грохота экипажей, захлопывающихся дверей, возрастающего гула толпы. Он чувствовал, как под его ногами машина приходит в движение, как она оживает и разогревается, начиная от касс, где звенит золото, от столов, где служители торопливо заворачивают покупки, и до самых глубин подвала, до отдела доставки на дом, где громоздятся горы спускающихся свертков, – от исходившего из его недр подземного гула дрожало все здание. Среди всей этой толкотни важно прогуливался инспектор Жув, подстерегая воровок.

– А, это ты!.. – воскликнул вдруг Муре при виде Поля де Валаньоска, которого подвел к нему рассыльный. – Нет, нет, ничуть не помешаешь... К тому же, если ты хочешь все осмотреть, тебе достаточно просто следовать за мной, потому что сегодня мне надо быть в самой гуще сражения.

Его опасения еще не рассеялись. Правда, публика прибывала, – но превратится ли базар в тот триумф, на который он рассчитывал? Все же он весело повел за собой Поля, не переставая шутить.

– Кажется, начинает помаленьку разгораться, – обратился Гютен к Фавье. – Но счастье что-то не улыбается мне сегодня, – бывают же, право, дни невезенья!.. Показывал руанские ситцы, а эта тумба опять ничего у меня не взяла.

И он кивнул на даму, которая уходила, бросая на материи недовольные взгляды. Да, если он ничего не продаст, так на тысячу франков годового жалованья не разживешься; обычно он зарабатывал семь-восемь франков на процентах и отчислении с прибыли, так что вместе с жалованьем получалось в среднем десять франков в день. Этот сапог, Фавье, никогда не выжимал больше восьми, а теперь вот выхватывает у него из-под носа лучшие куски: только что продал еще на одно платье! Тупой малый, понятия не имеющий, как обходиться с покупательницей! Это невыносимо.

– Чулочники с катушечниками прямо землю роют, – заметил Фавье про приказчиков из отделов трикотажа и прикладов.

Вдруг Гютен, шаривший по магазину взглядом, спросил:

– Вы знаете госпожу Дефорж, любовницу хозяина?.. Глядите, вон она: в перчаточном отделе, – брюнетка, которой Миньо примеряет перчатки.

Он замолчал, потом тихонько прибавил, как бы обращаясь к Миньо, с которого не спускал глаз:

– Так, так, милейший! Хорошенько поглаживай ей пальчики, многого этим добьешься! Знаем мы твои победы!

Гютен и перчаточник, оба красавцы-мужчины, были соперниками и усиленно заигрывали с покупательницами. Впрочем, ни тот, ни другой не могли похвастаться действительными победами: Миньо рассказывал небылицы о жене некоего полицейского комиссара, которая будто бы от него без ума, а Гютен и в самом деле покорила у себя в отделе одну позументщицу, которой надоело таскаться по подозрительным гостиницам; но оба бессовестно лгали, охотно предоставляя желающим верить в какие-то таинственные приключения, в свидания, которые якобы назначают им графини в промежутки между двумя покупками.

– Отчего бы вам не заняться ею, – съязвил Фавье с самым невинным видом.

– Это идея! – воскликнул Гютен. – Если она придет сюда, я ее окручу: мне позарез необходимо сто су.

В отделе перчаток целая вереница женщин сидела перед узким прилавком, обтянутым зеленым бархатом и украшенным никелированным ободком; улыбающиеся приказчики вынимали из-под прилавка и расставляли перед покупательницами плоские ярко-розовые картонные коробки, похожие на выдвижные ящички с ярлыками, какие бывают в конторках. Миньо склонял к дамам румяное лицо, подкрепляя свой грассирующий парижский выговор нежнейшими переливами голоса. Он уже продал г-же Дефорж двенадцать пар перчаток из козьей кожи, перчаток под названием «Счастье», которые можно было купить только здесь. Затем она спросила три пары шведских перчаток, а теперь примеряла саксонские, опасаясь, что размер указан не вполне точно.

– О, сударыня, превосходно! – твердил Миньо. – Для такой ручки, как ваша, шесть три четверти будет велико.

Полулежа на прилавке, он держал ее руку, один за другим перебирал пальцы и натягивал перчатку ласкающим, медленным и вкрадчивым движением; при этом он смотрел на нее так, словно ожидал увидеть на ее лице выражение сладострастной истомы. Но, опершись локтем на бархат и подняв кисть, г-жа Дефорж отдавала ему свои пальцы с тем же спокойствием, с каким предоставляла горничной застегнуть ей ботинки. Он не был для нее мужчиной; она принимала его интимные услуги с обычным презрением к лакеям и даже не глядела на него.

– Я не причиняю вам боли, сударыня?

Кивком она ответила «нет». Запах саксонских перчаток – этот хищный, словно приправленный мускусом запах – обычно смущал ее; порою она смеялась над своим волнением, признаваясь в пристрастии к этому двусмысленному запаху, в котором чувствуется что-то от возбужденного зверя, попавшего в пудреницу проститутки. Но здесь, возле банального прилавка, она не ощущала запаха перчаток, они не создавали никакой чувственной атмосферы между нею и каким-то приказчиком, делавшим свое дело.

– Что прикажете еще, сударыня?

– Больше ничего, благодарю вас... Будьте добры отнести это в десятую кассу, на имя госпожи Дефорж.

Как постоянная покупательница, она сообщала свое имя в одну из касс и отсылала туда все покупки, не принуждая ходить за собой продавца. Когда она удалилась, Миньо повернулся к соседу и подмигнул: ему хотелось уверить товарища, будто произошло нечто из ряда вон выходящее.

– Видал? – шепнул он цинично. – Вот кому хорошо бы натянуть перчатку до конца!

Тем временем г-жа Дефорж продолжала закупки. Она снова повернула налево и прошла в отдел белья, чтобы выбрать простыни; затем она повернула обратно и дошла до отдела шерстяных материй, в конце галереи. Она была очень довольна своей кухаркой и захотела подарить ей на платье. Отдел шерстяных тканей был битком набит покупательницами; здесь толпилось множество мещанок, которые щупали ткани, погружаясь в немые вычисления. Г-жа

Дефорж вынуждена была на мгновение присесть. На полках поднимались уступами толстые штуки материи, и продавцы резким рывком доставали их одну за другой. Они начинали терять голову – на заваленных прилавках уже вздымались кучи перемешанных материй. Это было настоящее море в час прилива, море блеклых красок, матовых тонов шерсти, серо-стальных, серо-голубых, серо-желтых, серо-синих, среди которых там и сям выделялись пестрые шотландские ткани или кроваво-красная фланель. А белые ярлычки напоминали редкие белые хлопья, пятнающие черную декабрьскую землю.

За грудой поплина Льенар шутил с высокой простоволосой девушкой, мастерицей с соседней улицы – хозяйка послала ее подобрать меринос. Льенар ненавидел дни больших базаров, от которых у него ломило руки, и старался улизнуть от работы; отец помогал ему деньгами, поэтому он пренебрегал службой, делая ровно столько, чтобы не быть выставленным за дверь.

– Подождите, мадмуазель Фанни, – говорил он. – Вы всегда так торопитесь... Скажите, хороша оказалась тогда полосатая вигонь? Знаете, я ведь приду к вам за процентами!

Но мастерица убежала, смеясь, а перед Льенаром очутилась г-жа Дефорж, и ему пришлось спросить:

– Что вам угодно, сударыня?

Ей нужна была материя на платье, недорогая, но прочная. Чтобы не утруждать себя, а это являлось его единственной заботой, Льенар старался убедить покупательниц выбрать одну из материй, уже разложенных на прилавке. Тут были кашемир, саржа, вигонь, и он клялся, что ничего лучшего не найти, что этим тканям износу не будет. Но все это не удовлетворяло покупательницу. На одной из полок она увидела голубоватый эско. Тут ему пришлось взяться за дело; он вытащил эско, но она нашла его слишком грубым. Затем пошли шевиоты, диагонали, вигони, все разновидности шерстяной материи; она трогала их из любопытства, ради удовольствия, решив в глубине души взять первую попавшуюся. Молодому человеку пришлось добраться до самых верхних полок; плечи у него ломило, прилавков исчез под шелковистыми кашемирами и поплинами, под жестким ворсом шевиотов, под пухом мохнатых вигоней. Все ткани и все оттенки прошли здесь. Г-жа Дефорж приказала показать даже гренадин и шамберийский газ, хотя не имела ни малейшего намерения покупать их. Когда ей, наконец, надоело перебирать материи, она сказала:

– Пожалуй, первая все-таки самая подходящая. Это для моей кухарки... Да, вот эта саржа в мелкий горошек, по два франка.

Когда Льенар, бледный от сдерживаемого гнева, отмерил материю, она прибавила:

– Будьте добры отнести это в десятую кассу... На имя госпожи Дефорж.

Она собралась было уходить, как вдруг заметила возле себя г-жу Марти с дочерью Валентиной, четырнадцатилетней девочкой, высокой, худенькой и бойкой, которая уже по-женски бросала на товары грешные взгляды.

– И вы здесь, душечка?

– Да, дорогая... Подумайте, какая давка!

– И не говорите, задохнуться можно. Но какой успех! Вы видели восточную гостиную?

– Великолепно! Неслыханно!

И они стали восторгаться выставкой ковров, остановившись среди толкотни и сумятицы, среди наплыва тощих кошельков, бросавшихся на дешевые шерстяные товары. Г-жа Марти сообщила, что ищет материал на манто, но пока еще ни на чем не остановилась и хотела бы посмотреть двустороннее сукно.

– Взгляни, мама, – шепнула Валентина, – это уж слишком обыденно.

– Пойдемте в отдел шелков, – предложила г-жа Дефорж. – Надо же посмотреть их хваленое «Счастье Парижа».

Мгновение г-жа Марти колебалась. Шелка дороги, а она поклялась мужу быть благоразумной. Она покупала уже больше часа, и за нею следовала целая гряда товаров: муфта и рюш

для нее самой, чулки для дочери! Наконец, она сказала приказчику, показавшему ей двустороннюю ткань:

– Нет, пойду посмотрю шелка... Все это мне не по вкусу.

Приказчик взял ее покупки и пошел впереди дам.

В отделе шелков тоже стояла толпа. Особенная давка была у выставки, воздвигнутой Гютенем; к созданию ее и Муре приложил свою мастерскую руку. Выставка была устроена в глубине зала, вокруг одной из чугунных колонн, поддерживавших стеклянный потолок, и походила на водопад тканей, на кипящий поток, ниспадавший сверху и расширявшийся по мере приближения к полу. Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а-ля-рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка – «Зеленый Нил», «Индийское небо», «Майская роза», «Голубой Дунай». За ними следовали более плотные ткани: атлас мервейё, шелк дюшес; они были более теплых тонов и спускались вниз нарастающими волнами. Внизу же, точно в широком бассейне, дремали тяжелые узорчатые ткани, дамá, парча, вышитые и затканые жемчугом шелка; они покоились на дне, окруженные бархатом – черным, белым, цветным, тисненным на шелку или атласе, – образуя своими перемежающимися пятнами неподвижное озеро, где, казалось, плясали отсветы неба и окружающего пейзажа. Женщины, бледнея от вожделения, наклонялись, словно думали увидеть там свое отражение. Стоя перед этим разъяренным водопадом, они испытывали глухую боязнь, что их втянет поток этой роскоши, и в то же время ощущали непреодолимое желание броситься туда и там погибнуть.

– Вот ты где! – сказала г-жа Дефорж, встретив возле прилавка г-жу Бурделе.

– А, здравствуйте, – отвечала та, пожимая руки дамам. – Да, я зашла взглянуть.

– Какая чудесная выставка!.. Прямо греза... А восточная гостиная? Ты видела восточную гостиную?

– Да, да, изумительно!

Но даже и среди этого восторга, который положительно становился хорошим тоном, г-жа Бурделе, как практичная хозяйка, сохраняла полное хладнокровие. Она внимательно рассматривала кусок «Счастья Парижа», – она пришла сюда единственно затем, чтобы выгадать на исключительной дешевизне этого шелка, если он действительно окажется хорошим. По-видимому, она осталась им довольна, потому что взяла двадцать пять метров, рассчитывая выкроить платье для себя и пальто для младшей дочери.

– Как? Ты уже уходишь? – спросила г-жа Дефорж. – Пройдемся еще разок с нами!

– Нет, благодарю, меня ждут дома... Мне не хотелось брать детей в эту давку.

И она ушла вслед за продавцом, который нес купленные ею двадцать пять метров шелка; он проводил ее до кассы № 10, где молодой Альбер совсем терял голову: его осаждали покупательницы, требовавшие подсчета. Приказчик, предварительно записав проданное в книжку, пробрался, наконец, к кассе и назвал товар, а кассир вписал его в реестр; затем кассир переспросил продавца для проверки, и чек, вырванный из книжки, был насажен на железное острие, рядом со штемпелем, которым ставилась отметка об оплате.

– Сто сорок франков, – сказал Альбер.

Госпожа Бурделе расплатилась и дала свой адрес – она пришла пешком и не хотела обременять себя свертком. Позади кассы Жозеф уже завертывал ее шелк; сверток, брошенный в катящуюся корзину, спустился в отдел доставки на дом, куда теперь, словно из запруды, с шумом низвергались бесчисленные товары.

Между тем в отделе шелков была такая давка, что г-же Дефорж и г-же Марти долго не удавалось отыскать свободного продавца. Они стояли в толпе дам, которые рассматривали материи, щупали их и проводили за этим занятием целые часы, не приходя ни к какому решению. Особенный успех выпал на долю «Счастья Парижа», – вокруг него все усиливался тот порыв увлечения, та внезапная лихорадка, что устанавливает моду в один день. Все продавцы только и

отмеривали этот шелк; поверх шляпок вспыхивал переливающимся блеск развернутых полотнищ, которые так и мелькали по дубовым метрам, висящим на медных прутьях; слышался лязг ножниц, резавших материю безостановочно, едва лишь распаковывали товар, словно не хватало людей, чтобы удовлетворить ненасытные, протянутые руки покупательниц.

– Это и на самом деле недурно для пяти франков шестидесяти, – сказала г-жа Дефорж, которой наконец удалось завладеть штукой шелка.

Госпожа Марти и Валентина были разочарованы. Газеты столько кричали об этом шелке; они рассчитывали увидеть нечто лучшее, нечто из ряда вон выходящее. В это время Бутмон узнал г-жу Дефорж и, намереваясь поухаживать за очаровательной женщиной, о неограниченном влиянии которой на хозяина ходило столько толков, подошел к ней со своей обычной, несколько грубоватой, любезностью. Как! С нею не занимаются? Это непростительно! Но она должна извинить их, – у них просто голова идет кругом. И он стал искать для нее стул, смеясь добродушным смехом, в котором слышалось грубое вождение, отнюдь не казавшееся, по видимому, неприятным Анриетте.

– Смотрите-ка, – шепнул Фавье Гютену, вынимая за его спиной из шкафа коробку с бархатом, – смотрите-ка, Бутмон собирается отбить у вас дамочку.

Гютен уже забыл про г-жу Дефорж, так его вывела из себя старуха; продержав его целых четверть часа, она купила всего-навсего метр черного атласа на корсет. Во время давки очередность обслуживания уже не соблюдалась, и продавцы занимались с покупательницами, как придется. Гютен отвечал на расспросы г-жи Бутарель, заканчивавшей обход «Дамского счастья», где она пробыла уже три часа; но от замечания Фавье он встрепенулся. Как бы не прозевать любовницу хозяина: ведь он поклялся вытянуть уже сто су! Это было бы верхом неудачи, потому что он еще и трех франков не заработал из-за всех этих старых дур!

В это время Бутмон громко позвал:

– Господа, кто-нибудь сюда!

Гютен передал г-жу Бутарель свободному в этот момент Робино:

– Вот, сударыня, обратитесь к помощнику заведующего. Он вам ответит лучше меня.

А сам выскочил и принял от сопровождавшего дам продавца из отдела шерстяных материй покупки г-жи Марти. Сутолока, должно быть, повлияла на тонкость его чутья. Обычно он с первого взгляда узнавал, купит ли дама что-нибудь и в каком количестве. Он становился властелином покупательницы, спешил быстро покончить с нею, чтобы перейти к другой, навязывал ей товар и убеждал, что знает лучше, чем она сама, какая ей нужна материя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.